

МИХАИЛ НИКИТИН

Н 62  
Р 52531



# ЕНИСЕЙСКАЯ КНИГА

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

МОСКВА 1944



**МИХАИЛ НИКИТИН**

# **ЕНИСЕЙСКАЯ КНИГА**

**СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
МОСКВА 1944**

H-62 + pycer.

## ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ

„Горсть казаков и несколько сот бездомных мужиков перешли на свой страх океаны льда и снега, и везде, где оседали усталые кучки в мерзлых степях, забытых природой.—закипала жизнь, поля покрывали бынами и стадами, и это от Перми до Тихого океана...И такие колоссальные события едва помечены историей, или помечены для того, чтобы поразить воображение, дантовски образом ледяного острова в несколько тысяч верст...“

Г е р ц е н, „Россия и Польша“, 1859 г.

### I

В начале июля 1928 года экспедиция Союзкино поселилась в северном городке, стоявшем на стрелке Енисея и Тунгуски.

Городские власти поместили экспедицию в общежитии школы, устроенной в бывшем монастыре. При распределении комнат сценаристу Марку досталась келья таких малых размеров, что ее сразу прозвали голубятней. Единственное окно кельи выходило прямо на Енисей, — Марк же больше всего на свете любил реки.

Лето в том году было счастливое. По утрам Марка будило мерное плесканье волн и веселые хлопки надувшейся от ветра занавески. Едва он открывал глаза, мощное сияние реки затопляло комнату. Еще лежа в постели, он запевал песню, подслушанную у детишек города:

Сидит дрёма,  
Сидит дрёма...

Охватив колени руками, он раскачивался и пел:

Ой, сидит дрёма,  
Сама дремлет,  
Сама спит...

Потом он одевался и выходил на крыльцо.

С крыльца был виден весь город, стоящий у подножья монастырского пригорка. Тайга подступала к задворкам изб и даже врывалась в город. На единственной площади, к которой сходились все шесть улиц, торчали невыкорчеванные пни. Кое-где перед избами одиноко покачивались келры.

Монастырская церквушка стояла на взлобьи пригорка. неподвижный свет утра и синева-молочная тень рассекали ее пополам. Слюдяные оконца, сохранившиеся в верхнем ярусе колокольни, отливали сизым шерламутром. Повсюду были видны полуистлевшие щепки и бигые осколки кирпичика, — весь опромытый монастырский двор лежал в тишине и запустении.

Кроме церквушки и высоченной избы подворья, здесь, над обрывистым берегом, стояла еще деревянная часовня. Напротив часовни, на иссиня-темной Тунгуске, ярко выделялся островок, поросший серебристым кустарником. За островками, поблескивая сквозь листву, величаво катил свои волны Енисей.

Марк видел немало рек, но такую реку он видел впервые. Ему нравилось ее тунгусское имя — Иоанесси. В переводе на русский это означало — Большая Вода.

Енисей — большая вода! По созвучию хотелось

сказать: Енисей — синяя вода! Но Енисей был не синий, а скорее пепельный, и только противоположный его берег с сизо-черными лесами стоял в сивевой дымке.

Когда Марк подымался на колокольню, Енисей представлял еще более широким. Оттого, что Марк смотрел на реку сквозь слюдяное оконце, она становилась желтовато-призрачной. Колокола гудели при каждом порыве ветра, и от печального и не сильного этого гудения человек невольно погружался в задумчивость. Терялось всякое представление о времени. За треть тысячелетия ничто, казалось, не переменилось в этом уголке мира, — то же белесое небо, та же пещельная река, те же глухие леса.

Вот висит колокол, медный его подол опоясан надписью:

Anno Domini 1615

Может быть, действительно год шел не тысяча девятьсот двадцать восьмой, а тысяча шестьсот пятнадцатый?

Здесьние люди говорили, что колокол привезен из Мангазеи и что отлит он был в Голландии. Марк спрашивал себя: как попал в Мангазею голландский колокол? Очевидно, он был доставлен морским путем: в начале семнадцатого века Мангазея бойко торговала с «голландами», и колокол легче было привезти из заморских стран, нежели из русских городов. В тысяча шестьсот шестнадцатом году воевода Куракин закрыл морской путь «в немцы». Енисейская Мангазея погибла от удущья. Историческое время остановилось здесь. Огромный край погрузился в дрему. Потомки землетроходцев были вынуждены заяться рыбац-

ким промыслом и «ляжкой», то есть волочением судов по Енисею и Тунгуске.

Теперь край снова стал дышать морским воздухом, потому что гидрографы Североморпути приоткрыли закрытую Куракиным дверь. Но здешние люди не бросали еще своих обычных занятий. Лямщиками был населен весь городок. Трудная работа, которой занималось несколько поколений, создала особую породу людей, приземистую и сутулую. Низкорослые, длиннорукие, с вечно заспанными лицами, лямщики казались Марку какими-то особенными существами, порожденными Дремой. Марк боялся к ним подступиться. Только на второй месяц своего пребывания в монастыре он удосужился сойтись с лямщиками.

## II

Случилось это так.

В одно очень солнечное утро Марк, выйдя на улицу, увидел траву, седую от изморози. Крепкая, чистая прохлада осени ополоснула ему лицо, капустный запах морозца был так приятен, что он даже засмеялся от удовольствия. Стало быть, вот она какая — северная осень!

Марк набрал воздуха в легкие и хотел уже крикнуть, но вдруг увидел незнакомого человека, сидевшего над обрывом, на том месте, на котором Марк привык встречать утро. По всей видимости, человек этот был шведский. Марк решил, что незнакомец должен быть старателем, потому что одет он был так, как на Енисее одеваются приисковые. Черный расшитый ворот сатиновой рубахи охватывал его красную, глянцевую от недавнего бритья шею, широченные плюсовые штаны были заправлены в невысокие,

чуть выше шкелоток, сапожки, малезькая приплюснутая шапчснка едва держалась на затяжке.

Незнакомец обернулся на звук шагов, и Марк увидал, что широкое его лицо изуродовано шрамом, отчетливо розовевшим на смуглой щеке. Тяжелый, плотный, старатель опирался ладонями о землю и смотрел сними внимательными глазами. Когда Марк подошел поближе, он кивнул головой на часовню и глуховатым баском спросил:

— Что это у вас тут за святости?

Марк объяснил, что в часовне схоронен купец и что здешние монахи через этого купца едва не вышли в большие люди. Им, монахам, предписывалось обращать в православие тунгусов, остяков и самоедов. В монастыре был миссионерский центр, но не было своих святых. Монахи, конечно, сожалели об этом.

В девяностых годах, в одну особенно полную водную весну, река подмыла могилу местного купца, происходившего из рода рыбопромышленников Седых. Купеческое тело было обнаружено нетленным. В монастыре засуетились. Монахи пустили слух, что их игумену приснился нетленный, «с печальным ликом стучавшийся в храмовые врата». Потом прошелестел слух, что песочек с могилы «праведника» унимает боль зубов.

Седые стали помогать монастырю. Польщенные тем, что их родич выходит в святые, они согласились на перенесение купеческих мощей в монастырь. Именно тогда монахи построили часовню. Купец, быть может, был недалеко от капонизации, но революция положила конец его посмертной карьере.

Старатель прослушал эту историю как будто

совершенно безучастно. Марку почудилось даже, что он задремал. Желая поддержать разговор, Марк спросил:

— Вы, должно быть, не здешний?

— Да, я приезжий, — сказал старатель. — Сам-то я верховский — с верховских приисков, а сюда, вниз, первый раз пошел. Тут такое дело вышло. Я занялся в Игарку и проработал на постройке порта без малого три месяца. Теперь вот свел компанию со здешними мужиками и завтра по Тунгуске пойду лямкой до самой фактории Виви. Артель у нас подобралась на четыре паузка.

Марк заметил, что до фактории Виви должно быть не менее девятисот километров.

Старатель усмехнулся и беззаботно сказал:

— Ну и что из того? Енисейские лямщики и на тыщу верст ходят, — на то они и лямщики называются.

Разговор оборвался, Марк сел рядом со старателем, спустив ноги в овраг.

Песок был влажный, — легчайшая дымка летела над рекой и путалась в пожелтевших кустах. Марк пожалел, что не поехал сегодня на съемку. Как хорошо, наверное, было плыть в этом текучем тумане, прислушиваясь к негромким голосам утра!

— Негасимая лампада! — сказал вдруг старатель.

Марк посмотрел на него с удивлением.

— Негасимая лампада! — повторил старатель и показал глазами на электрический маячок, мгновенная молния которого то и дело поблескивала над темным крестом часовни. — И до чего ж хитры эти купцы, — добавил он после корот-

кого молчанья. — Смолоду грабить, а в старости грехи замаливать. Вот и у нас в Енисейске. — видал ты, сколько там церквей понастроено? Это все купецкие церкви. А Чаерезов — купец, тот по-за городом вроде как монастырь устроил. Слышал ты про этого варнака?

Старатель очень удивился, когда Марк признался, что впервые слышит фамилию Чаерезова.

— Как же так? — с упреком проговорил он. — Да этот человек на весь Енисей премел! Его и по прозвищу понять можно; ты знаешь, какие они были, чаерезы-то эти? Не знаешь? Ну, я тебе скажу: это специальность такая в Сибири была. Понятно: это в старое время было, когда еще через Сибирь железная дорога не прошла и чай из Китая в гужом возили.

Старатель уселся поплотнее и повел рассказ с неторопливостью человека, у которого целый день вперед.

— Бывало, — сказал он, — ударит зима — из Китая сильные обозы потянутся и в каменных санях по многу цибиков лежат. Ямщики не при всех подводах шли, да зачастую и не шли, а спали на подводах. На одного ямщика по три, а то и по четыре подводы приходилось. — на одной он сам едет, а две сзади плетутся. Чаерезы этим и пользовались.

Иной чаерез выйдет на дорогу, коня с подручным в кустах спрячет, а сам оболочется в белое и в снег при дороге упадет. Обоз покажется, — он тихо лежит и все примечает. Выследит подводу, от которой люди далеко идут, и на ту подводу ситнет. Ямщики идут без внимания, а он свое дело знает, — лежит и ножом работает. Срежет цибик, срежет другой и с саней скатывает-

ся. Обоз уйдет, он цибикн подобрет и скорее к подручному, а у того уже и конь наготове.

Специальность выгодная: в каждом цибике товару рублей на триста. А уж если попался, решайся с жизнью расстаться! Рисковали люди, фарту добивались,— Чаерезов из таких был. Он смолоду за Байкалом, в Даурии, по этой специальности ударял, однако там у него ошибка какая-то получилась, и он с тракту ушел. Подался в Енисейск. Тут ему фарт и подвалил, по-вашему сказать — счастье...

### III

Странное было представление о счастье у этого золотискателя.

Ну, вот: жил-был на свете человек лет двадцати трех, по отчаянному своему промыслу прозывался он Чаерезом. Лет за тридцать до русско-японской войны Чаерез пришел в Енисейск. Золотая слава Енисейских приисков тогда уже померкла, в народе стали забывать о временах Тита Зотова — знаменитого екатеринбуржца, сумевшего за одно десятилетие нажить на Енисее свыше тридцати миллионов рублей. Но енисейцы не теряли все-таки надежд на новую удачу. Прииска не окончательно истощились, и золотискатели, выходя из тайги, швыряли деньгами со щедростью людей, которые куда как крепко верят в свое счастье.

Среди них не было прежних удальцов, способных расстелить штуку бархата от одного кабака к другому. Но все же, когда старатели перед зимой приходили с приисков, город загуливал почти попрежнему широко. Старатели разбивали по нескольку кабаков в ночь. В три листика проиг-

рывались немалые деньги. Иной напашивал дюжью па не только друзей, но и первых встречных. Другой расточительно скупал в лавчонке все сласти и бросал их в ребячью кучу-малу.

У Чаереза не было причин жаловаться на скуку. Он сразу попал в артель старшинки Зайцева, члены которой, известные в городе под именем «зайчат», считались первыми в работе и в гульбе. По весне Чаерез уходил на прииска, к зиме возвращался в город,— он жил вполне по-старательски, не отставая от других ни в работе, ни в кабацких подвигах. Впрочем, шуму от него особенного не было, и в городе о нем заговорили только в четвертую зиму, когда он почему-то не вышел из тайги.

Это было столь невинное нарушение сложившихся порядков, что горожане, при всем своем равнодушии к Чаерезу, все-таки спросили о нем. Артельные неожиданно отрезнулись.

— Мы зайчата прозываемся,— ответили они,— а Чаерез волчишкой оказался, ну вот, его и потянуло в тайгу.

Тогда по городу прокатились разные слухи. Одни говорили, будто Чаерез в пьяном гневe до смерти зашиб артельную мамку и за это так обработан был артелью, что перестал владеть ногами. По другой молве, невыход Чаереза в город объяснялся тем, что он решил остаться в тайге, чтобы в одиночку поискать «своего форта».

Весной, перед самым ледоходом, когда старатели начали сбиваться в артели, Чаерез появился в городе. По внешнему виду трудно было признать за ним удачу,— так он обносился, отошал и задубел—но опытные енисейцы сразу поняли, что шарень недаром шережимовал в тайге.

Страшный в своих лохмотьях, черный, заросший бородой и пьянью, — Чаерез объявился в береговых кабаках, и около него тотчас же стали сбиваться прищиповые «отлеты» и вечно пьяные затонные жильцы. Затихнувшее веселье вновь загрело в кабаках. Чаерез показывал, что он возвратился с большой удачей.

Когда ему понадобился извозчик, он нанял все выезды, какие только оказались на бирже. Одежду свою он разбросал по экипажам: на одного извозчика прищипь сапоги, на другого — шапка, на третьего — пояс, сам же он, простоволосый и дикий, ввалился в передний экипаж. Сопровождаемый двумя десятками извозчиков, на которых разместились его вещи и свита, он с гиком, с присвистом промчался по главной улице.

Поплывав несколько дней, он вдруг заявился в дом Нифонтова, второстепенного енисейского золотопромышленника. Нифонтов почетно принял старателя. Неожиданно стало известно, что оба они — и Нифонтов, и Чаерез — тайно уехали в тайгу.

Дело, стало быть, было стоящее, коль скоро Нифонтов в самую распутицу поднялся из города.

Енисейск загудел взволнованными слухами. Говорили, что Чаерез застолбил счастливую делянку и взял Нифонтова в долю. Говорили и то, что Енисейск теперь загремит. Ждали мгновенных обогащений и сказочных удач.

На деле получилось так, что разбогател один Чаерез. Он действительно застолбил делянку. Нифонтов, которого он взял в долю, был не из первых богачей. Для начала капиталов Нифонтова все-таки хватило. Когда же Чаерез вошел

в силу, ему стали доступны и другие капиталы. Он проник в самые именитые дома. Енисейцы вдруг узнали, что у него есть фамилия — Лавренов, и имя-отчество — Феофан Павлыч. По имени-отчеству его, конечно, величали только в глаза, — за глаза же он попрежнему назывался Фешкой Чаерезом.

Так плотно пристала к нему кличка. Еще прочнее привязалась к Чаерезу удача. Он женился на единственной дочери Нифонтова, и к нему перешли нифонтовские прииска. Прииска эти считались сильно выработанными, но Чаерез выгодно их продал и расширил собственное дело. Капитал его быстро округлялся. Он открывал новые прииска, строил дома, покупал заимки.

Только в одном не знал он счастья, — в детях. Для утверждения фамилии, для полного ее торжества необходим был сын, жена же, будто назло, рожала девочек. Ничто не помогало Чаерезовым; — ни вклады в монастырь, ни паломничества в пустыни, — дом пополнялся девочками, которых Чаерез злобно считал в штуках, Всего в многолетнее супружество народилось «одиннадцать штук».

Когда заневестились первые три дочери, Чаерез неожиданно отошел от дел. В Енисейске было принято, чтобы богач, уходящий на покой, строил для города новую церковь. Чаерез, верный обычаю, взял разрешение на постройку церкви, но, ко всеобщему удивлению, начал ее ставить не в городе, а у себя на заимке. Енисейцы увидели в этом самодурство и попробовали усовестить Чаереза, — он грубо отверг их искаательства. Он не взял на постройку местных каменщиков, а выписал мастеров из Красноярска.

Подрядчиком у него был владимирец. Радея землякам, подрядчик вывез из Владимира не только богомазов, что было еще понятно, но даже маляров и штукатуров.

Чаерез со всем семейством переехал на заимку, наглухо заколотив городской дом, и, как слышно было в Енисейске, сам стал распоряжаться на постройке.

Церковь воздвигалась с необыкновенной быстротой. Чаерез никого не пускал на постройку. Когда в городе прослышали, что в церкви началась роспись, один из родственников его жены, Нифонтов, старый, почитаемый купец, приехал на заимку и попросил разрешения посмотреть на владимирскую работу. Чаерез неуважительно отнесся к старому родичу, твердо заявив, что двери церкви останутся закрытыми до той поры, пока не приспеет время.

В год японской войны, под самую Троицу, енисейцы были оповещены о торжественном освящении чаерезовской церкви. Горожане и без того знали о близком окончании Чаерезовых трудов, потому что в Красноярск за архиереем отправлен был специальный пароход, а на заимку взами начали отвозить вина и самую отборную снедь. Когда же бирюч, выйдя на базар, по старинному поднял над толпой вздетую на шест рукавицу и начал сзывать народ на праздник, любощитство горожан дошло до самых высоких градусов, и многие загодя стали собираться к Чаерезу.

В день торжества дорога на заимку заполнилась экипажами. По обочинам дороги толпами шли люди небогатого звания, одетые по-праздничному. Погода выдалась веселая.

Архиерей припоздал в пути. Именитые, прибыв на заимку, полстгли отдохнуть в тесноватом доме Чаереза, простой же народ расположился прямо на траве возле белых стен церкви, пахнущих свежей известью и непросохшей краской. Небольшая, с легкой колокольней и пятью башенками, церковь показалась всем очень красивой.

О внутреннем ее убранстве можно было думать разное, потому что двери ее оставались закрытыми, окна же высоко отстояли от земли. То, что Чаерез не пускал богомолов в церковь, в другое время могло бы обидеть народ, но в погожий этот день, когда так щедро пригревало солнце и молодая листва так нежно лепетала на деревьях, ожидание ши для кого не было в тягость. Люди коротали время в неторопливых разговорах. Спорили о том, сколько дочерей осталось в живых у Чаереза, — девять или восемь, обсуживали именитых гостей, из которых многие в молодости ходили в жиганах, вспоминали истории воровских удач и темных обогащений. Иные богомолы крепко уснули в траве. День проходил пусто и по-праздничному — медленно.

Под вечер на дороге показался верховой. Богомолы еще издали услышали его крик: «Едет! Едет!» — и торопливо начали будить спящих. Усадьба сразу ожила. На крыльцо, сопровождаемый гостями, вышел Чаерез. Он махнул платком, и звонарь, невидимый на колокольне, начал торжественный перезвон. Цевчие прибежали от реки, где они подкреплялись с утра. Не дожидаясь гонца, который еще не доскакал до усадьбы, Чаерез пошел к церкви.

Народ хлынул на паперть. В это мгновение на Чаерезовом дворе распахнулась калитка, и все

увидели Чаерезиху с восемью дочерьми. Они вышли по старшинству: три дочери переросли уже мать, одна была с ней вровень, остальные же шли лесенкой, вплоть до самой маленькой, едва видной от земли. Чаерезиха нарядилась в зеленый сарафан, с зеленой бархатной наколкой на голове. На дочерях же, от старшей и до самой маленькой, были надеты белые платочки, помонашески надвинуты на лоб, и черные длинные платья, перехваченные черными же поясами.

Народ не успел удивиться странному олеянию дочерей, потому что хозяин в сопровождении именитых взшел на палатку и отомкнул окошанные жестью двери. Все заметили, как сплело постарел Чаерез. Перекрестясь, он обернулся к богomoлам и смиренно попросил их войти в церковь. Богомолы, едва не сбив хозяина, кинулись к дверям.

Сумерки только надвигались, в церкви было прохладно, предзакатное солнце било прямо в иконостас, отражаясь во всех завиточках кудрявой, крытой золотом резьбы.

Чаерез не пожалел денег на украшение. Невысокие своды были раскрашены в цвета неба, в светлой голубизне летали златокрылые ангелы, наверху же, под самым куполом, сусально сияли звезды.

Откуда-то появился старичок, он озабоченно засновал с огоньком, и скоро по всей церкви затрпетали желтые язычки свечей. От жаркого света видней стала роспись. Богомазы нашлись одних только мучениц, святых же мужского пола на стенах не было совсем.

Обозрев роспись, богомолы стали по обычаю: мужчины — на правую сторону, женщины — на

левую. Позднее всех вошли в церковь Чаерезовы дочери. Чаерезиха беспокойно и даже с отчаянием глянула на них и направилась к женщинам. Дочери на мгновение смешались. В монашеских платьях, в белых платочках, они сбились испуганной стайкой, но Чаерез повел на них глазом, и они тут же разомкнулись и в одиночку разошлись по церкви.

В народе было недоумение. Но когда Чаерезовы дочери встали перед стенными иконами и желтый, трешетный свет ушел на взволнованные лица девушек, все сразу увидели, что священные лики мучениц написаны именно с них. Каждая из дочерей встала перед своей святой — Анна перед Анной Кашинской, Варвара перед Варварой-великомученицей и так до святой Марфы, которую богомазы, кощунственно подчеркивая сходство, написали такой же румяной и круглолицей, как Чаерезова Марфушка.

По народу пошли смятенные шопоты. Нифонтов, родственник хозяйской жены, подступил к Чаерезу и гневно закричал:

— Над богом насмехаешься! Над всрой издевочки строишь!

Чаерез попросил не шуметь в церкви, но Нифонтов не унялся, и Чаерез, сразу соскочив со смиренного тона, начал его перекрикивать. Он кричал, что издевок у него и на уме не было, что храм построен им в прославление господу, наградившего его столькими дочерьми, а если богомазы списали с дочерей святые лики, — так это исключительно для пущей натуральности.

Нифонтов, не слушая его, возмущенно гремел:

— Пересмешиник святотатственный! Вот ужо

его преосвященство владыко архирей святотатство твое обличит!..

Чаерез окончательно вышел из терпения и еще громче Нифонтова закричал:

— Не посмеет меня твой архирей обличить! Да, если меня кто тронет, я со своими деньгами могу и в латынский закон уйти! Ты знаешь, во сколько мне...

Певчие оборвали непристойный спор, грянув греческое величание, — в церковь, сопровождаемый шопами, вошел маленький седенький архирей. Именитые скинулись под благословение. Архирей потыкал в воздухе сухими перстами и мелко засеменял к алтарю.

Богомолы подумали, что архирей ничего не заметил. Но во время службы, когда его ввели на архиерейское место, он долго и для всех приметно обзирал церковь и никого не обличал. Не было обличенья и после службы.

Напротив, архирей поцеловался со Чаерезом, похвалил его усердие, а потом, сопровождаемый чернокрылой свитой, проследовал в хозяйский дом. С ним ушли все именитые, простие же люди сели за столы, поставленные прямо на улице. Один только Нифонтов презрел хозяйское угощение и укатил домой.

В Енисейске долго говорили о Чаерезовом жиганстве. Многие из любопытства ездили на заимку и, проникнув в церковь, точно, находили сходство между дочерьми Чаереза и святыми на иконах. Иных это приводило в смущение, другие только посмеивались.

Чаерез меж тем устроил на заимке заправский монастырек.

У попа, которого он переманил из Енисейска, от ежедневных служб опухали ноги, — дочери знали одну только дорогу — из дому в церковь и из церкви домой. В город их не возили. Чаерез и сам перестал ездить в Енисейск, а городские его связи постепенно порвались.

К себе он тоже никого не пускал, — исключение было сделано только для Нифонтова, который приехал однажды, кажется, по просьбе племянницы, Чаерезовой жены, и начал упрашивать Чаереза не губить дочерей.

Посещение это состоялось в летнюю пору. Чаерез открыл в своей комнате окна, и громкий разговор двух родичей был слышим всей женской его семье.

Нифонтов говорил, что дочери замужеством и что их надо везти в город. Чаерез смиренно возражал, что в этом нет нужды, потому что дочери его наречены в христовы невесты. Нифонтов плевался и обличал святотатство Чаереза. Он говорил: все вадят Чаерезову обиду на бога, который не дал ему сына, но из-за этого неразумно губить дочерей. Чаерез с хорошо усвоенным смиренным возражал, что он ищет для дочерей не земного, а небесного счастья.

Нифонтов вышел из себя и заругался на всю запявку.

— Помяни мое слово, — тремел он, — помяни мое слово, богоборец нечестивый, — девки переклюпят в дурацком твоём монастыре!

Чаерезиха взвыла за дверью. Нифонтов швырнул на пол картуз и выбежал на улицу. Не обращая внимания на Чаерезиху, которая побежала за ним, он вспрыгнул в свой экипаж и в бешенстве ускакал в Енисейск.

Чаерез остался при своем.

Шли годы, — дочери его попрежнему знали одну только дорогу: из дому — в церковь, из церкви — домой. Старшие начали кликушествовать. Чаерезиха умерла, — говорили, с горя, — Чаерез не сдавался и, будто подчеркивая отъединенность свою от мира, обнес займку высоким частоколом.

Постепенно о нем стали забывать, — только в первый год германской войны по народу смутно прошел слух, будто Чаерез, выполняя какой-то обет, начал ходить в церковь в чугунных калошах, отлитых по его заказу в железнодорожных мастерских в Красноярске.

В тысяча девятьсот двенадцатом году Чаерезову монастырю пришел разорительный конец.

#### IV

— Чугунные-то калоши не в мастерских, а на базаре бабами-сплетницами отлиты были, — сказал золотоискатель, заключая историю Чаереза. — Я партизанил на Енисее в отряде Бабкина, и, когда мы Енисейск приступом взяли, ребятам, которые из здешних мест происходили, сильно захотелось Чаереза потревожить. Бабкин отрядил четыре подводы, и ребята покатали на займку. Я тоже с ними просился, но у меня в голове жар сделался, и Бабкин меня не пустил.

Однако я доподлинно знаю, как на займке дело происходило.

Прискакали наши к займке, видят — частокол монастырский, за частоколом церковь, а при воротах сторожка в один свет. Ребята в сторожку вошли. У печи старичок сидит, — лучину для

растошки готовит. Ребята хозяина спрашивают. Старик отвечает:

— Я и есть хозяин! — И обертывается к ним с косарем.

Ребята не поверили.

— На Чаерезова, — говорят, — ты мало похож, Чаерезов из себя герой должен быть!

Старик в обиду ударился.

— Довольно, — говорит, — вам стыдно непристойной кличкой старого человека кликать, у меня, — говорит, — имя есть — Феофан, по отчеству Павлыч, а фамилии я Лавреных.

Наши разговаривать ему не дали.

— Веди, — приказывают, — до своей хаты.

Старик кобенится.

— Дома, — говорит, — у меня одни только девки богомольные, а вы, — говорит, — мужчины при оружии и вид у вас страховитый, — богомольные мои девки испугаются.

Ребятам такой разговор не понравился. Они пошли, старик им дорогу стал загораживать. Тогда один его отпихнул.

Со старика вся святость сразу соскочила. — Он на обидчика с косарем. Тот увернулся. Однако старик старательское умение вспомнил и руку ему через тулуп до локтя располосовал. Ну, тут его, понятно, ударили.

Начали наши заимку обыскивать. У нас было сообщение, что там белые прячутся, — ребята и церковь осмотрели, и в доме все перерыли, однако, никого не нашли. Чугунных калош тоже не нашли, — стало быть, их вовсе и не было.

Девкам велели одеться, они первоначально рев подняли, однако скоро успокоились и стали собираться вроде как с охотой. Когда собрались,

ребята их по саням развели, старика тоже в сани забросили и с тем поскакали в Енисейск.

В ту пору я от головной жары вовсе беспмятным сделался, и это, значит, тиф был, и я от него малость что не помер. Соображенья у меня тогда небольшое было, однако я твердо знаю: девкам вреда никакого не сделали. Бабкин сразу отпустил их на волю, а у старика у ихнего приключилось в легких воспаление, и его пришлось в больницу положить.

В больнице он и помер. Девки по шем, должно быть, не шибко убивались, потому что он через дурость свою всю ихнюю жизнь шкорсжил. Старшие четыре совсем в перестарках остались, младших же трех разобрали енисейские родственники. С самой младшей,— по имени-то ее Марфушей звать,— судьба связала меня одним узелком.

А вышло это, стало быть, так. Было у меня тифное беспмятство,— много ли, мало ли опотянулось, но только очнулся я ночью. Смотрю,— помещение незнакомое, на столе лампешка мигает, а за столом девка спит. Она голову на стол положила, коса у нее до полу свесилась и мне, кроме косы, только щека одна видима да еще глаз закрытый.

В помещенье тишина такая, в лампешке, видно, керосину мало, она сильно так мигает, и у девки лицо то посветлеет, то опять потаснет. Лежу я и ничего не понимаю. Хочу голос подать,— обратно, голосу нет; хочу пошевелиться,— руки недвижимые. Попробовал голову поднять,— потолок наперекосы пошел. Даже страшно стало.

По счастью меня в сон кинуло. Утром про-

снулся — чувствую: силы во мне прибавилось. Глянул в окно: на улице солнечно, от снега даже в глазах зарябило. Заммурился я, пожегал с закрытыми глазами, потом потихоньку начал осматриваться.

У стены стол стоит, на столе бутылки разные и лампа. Значит, правильно, значит, не померещилась мне девка. Однако, куда же она подевалась?

Кровать моя у перегородки поставлена, за перегородкой кто-то гремит, вроде как кастрюлями, — значит, девка там и находится. Я голос подал, постучался. И верно: вошла девка, та самая, которая вчера за столом опала, в руках у нее котелок.

Спрашиваю, где я нахожусь.

Она отвечает:

— Об этом после разговор будет, сперва вам пало поесть.

И начинает кормить меня с ложечки.

Покормила и принялась рассказывать о моих беспамятных поступках: как я на улицу босый выбежал, как на доктора намахивался, как зеркало разбил. У меня понятие смутное, и ничего этого я не помню. Спрашиваю про наших партизан. Она отвечает: в городе партизан находится человек пятнадцать, остальных Бабкин увел в Верхнеинбацкий станок. Доктору Бабкин приказ отдал, чтобы он меня беспременно на ноги поставил.

Мне из этих слов понятно, что я нахожусь в больнице.

Спрашиваю девку, кто она такая есть. Она отвечает:

— Это вам не обязательно знать.

И тут же выходит. Я думаю: «Ладно, повременим малость».

После того фельдшер появился, плешивый старичок. У него один разговор: как мы себя чувствуем, да какой аппетит, но я ему сразу сказал, чтобы он все объяснил. Он видит — деваться некуда — и начал подробно все обсказывать.

Получилось, значит, так.

Больница здешняя бедная была, и тифного отдeленья при ней не состояло. Когда меня беспомытного привезли, медицинский народ в испуг епал. Товарищ Бабкин на них прикрикнул, и они освободили каморку небольшую, в которой сторож жил, и в эту каморку меня положили. Накануне того в больнице Чаерезов умер. При нем домашней ситцевкой дочь находилась младшая, Марфуша. Бабкин приказал, чтобы ее ко мне приставили.

Такой приказ не мог ей по праву прийти, однако она за мной на совесть ходила. Двенадцать суток, пока я без памяти был, она спала не иначе, как на стуле. Раза по три в день обертывала меня мокрыми простынями, давала попошки разные, готовила питье кислое, и ежели я жив остался, то, может, только от ее хорошего ухода.

Все это фельдшер мне обсказал. Когда она вошла, я хотел благодарность ей сделать, однако от строгого ее вида у меня слова никакого не нашлось.

С того дня пошел я на поправку. Она все при мне находится. Иной раз уйдет за перегородку, приготовит какую-нибудь еду и обратно возле меня садится.

Разговору у нее со мной не было. Только ска-

жет «да» или «нет», а больше все молчит. Я смотрю на нее, она до сердца моего доходит, а сказать я не могу. Она сидит, что-нибудь вяжет или книжку читает, и вид у нее строгий, — прямо беда.

Много ли, мало ли времени истекло, только раз она говорит:

— Сегодня батюшка покойному поминаенье, — так вы побудьте один, а меня отпустите панихиду отслужить.

Я не посмел поперечное слово вымолвить. Она говорит:

— Фельдшеру или доктору о том не рассказывайте.

Отпустил я ее и сразу испугался: девке только со двора сойти, а уж потом и следу ее не отыщешь. Тут пало мне на мысль, тут забила меня тоска, не знаю прямо, куда и деваться. Встал с кровати, к окну подсел, все ее выматриваю, все об ей думаю. Час сижу, два сижу, с калитки глаз не спускаю.

Из окна весь двор виден. Мне приметно, — дело к весне подвинулось: крыши все ледышками увешаны, заборы до брусвен оттаяли, а снег темный да плотный лежит, — от такого снега, ежели на улицу выйти, вроде как огуречным рассолом напахивает.

Я стараюсь о ребятах думать, как-то они теперь воют, как-то беляков бьют, однако, думка на ум не идет, — очень мне все беспокойно, и сердце-то у меня щемит, и кровь в голове кислотится, и свет в глазах застит.

Много ли, мало ли времени прошло, но только я ее и ждать совсем перестал, и вдруг на счастье ль мое, а может на беду, открывается ка-

житка, и Марфуша входит во двор в собственном в своем виде. Тут что было,— я от радости плясать готов, а она проходит двором, и уж я за стеной шаги ее слышу, и как она дверь открывает, и как шубку с себя скидает.

Вошла она в каморку, с морозу очень румяная, а глаза у ней наплаканы. Я даже рассердился. «Стоит,— думаю,— слезы проливать из-за такого дуроломного старикашки!» Сторяча прямо в лоб ей и вышалил:

— Довольно,— говорю,— некрасиво с вашей стороны горевать об этом бесполезном человеке, от которого и вы, и кровные ваши сестры такую муку принимали!

Она на меня разгневалась, она даже ногой топнула и грубо так крикнула:

— Не могли такие слова говорить!

С тем из комнаты вышла и — мне слышно было — до самой ночи за перегородкой сидела. Я тогда твердо решил ничего ей больше не выговаривать.

Так мы и зажили: днем после уборки она о своем злыдне молится. При мне же остается фельдшер. Иной раз Карабаш зайдет, наш партизан, которого Бабкин в Енисейске комендантом поставил. Он пустой не любил приходить, он все спирт приносил, а то и вино. Фельдшер к нам припугивался, они с Карабашем, бывало, так натянутся — чуть живые из больницы уползут. Я старался из помещенья их вытеснить, чтобы они Марфушу не напугали. Сам от выпивки воздерживался, опять же ее опасаясь.

Она по вечерам у лампы завсегда сидела и все со своим заделем. — то с вязевои, то с пошивкой. Я с инвалидного своего места на нее любо-

вался, — очень она красивая была, прямо принцесса! Ростом, — я не скажу, — ростом она не вышла, но зато брала статью. Бывало, глянешь на нее и думаешь: и откуда только она такая строгана-точена произошла? Лицо у нее круглое, брови будто писанные, а шея белая да полная. Я на нее только и мог зреть, пока она над заделем сидит, а так — глаз поднять не смел. Иной раз сидим весь вечер, и ни тот, ни другой словечка не вырощит.

Так вот и шло у нас все втихомолку. А дни бегут наперегонки, и я день ото дня заметно в силу вхожу. Однако к больнице я будто пришитый, мне и думать о том страшно, как мне от Марфуши уйти. А в то же время знаю: уйти все же придется.

Конечно, так все и вышло: — заявляется однажды Карабаш, из себя веселый такой.

— Ну, — говорит, — Теряев, выпивка с тебя! Товарищ Бабынин требует нас к себе, и завтра мы к нему на соединение пойдем, а ты, ежели тебе в богадельщиках надоело окопачиваться, должен к походу изготовиться!

Я виду не показываю:

— Буду, — говорю, — готов!

И начинаю спрашивать, какие еще вести от Бабкина получены. Спрашиваю, и только во мне видимость одна, а пошятия настоящего нету. В уме Марфушу одну содерживаю: «Ну, — думаю, — может, это и к лучшему, обскажу ей все напрямки, и пусть будет какой-никакой да конец...»

Вечером, как Марфуша пришла, я сразу все высказал: вот, дескать, завтра мы выступаем, а я без тебя жить не могу.

Она выслушала и спокойно так отвечает:

— У меня папаша один на уме... Вот окончится по нем сорокоуст, а там весна шастанет и на Енисее пароходы загудут, и я тогда в Красноярск уеду, а оттуда, может, в женский монастырь подамся.

Сказала и из каморки ушла, меня на весь вечер одного оставила. Я в эту ночь глаз не сомкнул, однако всему бывает конец, и до утра я все ж таки дожил. Утром от Карабаша партизан один прискакал, Медников по фамилии,— он в полном вооружении ко мне ввалился и приказывает одеваться. Тут что будешь делать? Я стал оболокаться. Фельдшер с Марфушей мне помогают. Я оболокаюсь, а им спасибо оказываю. Марфуше отдельно говорю, что вот, дескать, мне осталось теперь только смерти искать.

Простился и вышел на улицу. Подводчик нас ждет. У него кони по масти подобраны, они стоят, как звери, и только колокольцами потряхивают. Я пал в кошелек, Медников сел с ямщиком. Фельдшер все хлопочет, какие-то все по дорожничьи сует, за спиной сено поправляет.

Только мы уселись, — из больницы Марфуша выбежала. Она в салопчике лишем, на голове у шей-шаль пуховая, на ногах пины. Я почему-то подумал:

«Едет!»

И верно,— она ко мне подбегает и тихо так говорит:

— Еду!

Тут откуда сила взялась,— я ее подхватил и сразу в кошелек. Медников только засмеялся, а я Марфушу тулупом принакрыл и ямщику крикнул, чтобы ехал.

Золотоискатель замолчал: казалось, он вспоминал что-то, губы его шевелились, а глаза были устремлены прямо на остров.

Марк думал о Марфуше. Он шатался по Сибири не первый год, и у него было время усвоить здешние понятия о красоте. Ему нравились местные прелестницы, слегка раскрасившие, слегка скуластые, с шафранным цветом кожи и лукавым очерком губ. Строгий ценитель нашел бы в сибирячках немало недостатков. Носы у них монголообразные, а рты чрезмерно пухлые; черты их лица; взятые в отдельности, не очень-то красивы, но в них есть сверканье силы, и это искупает несовершенную лепку лиц. Они особенно хорошеют от улыбки, когда полные и крепкие губы забавно наморщиваются, открывая яркую белизну отбеленных и таких прохладных-прохладных зубов.

Марфуша, — думалось Марку, — должна была быть отмечена всеми признаками излюбленной среди коренных сибиряков «карымости», то есть примеси бурятской или монгольской крови. Портрет ее воображался таким. Невысокая, но крепкая девушка с широковатым лицом и несколько укороченным носом. Тонкие поздри жарко раздуваются и в сердитые минуты, и в минуты веселья, когда на смугловатых щеках и близ рта проступают румяные ямочки. Глаза у нее коричнево-темные, с озорными золотинками. Над гладким и невысоким лбом взбегают черные и жесткие волосы. Черные бровки подчеркивают узковатый разрез глаз и шафранную матовость кожи. Она коротконога и не очень грациозна, но...

Золотоискатель прервал размышления Марка: — Ты про Щетинкина-партизана слышал? — спросил он. — Ну так вот, он был знаменитый командир, а соединились мы с ним под Минусинском — отряд наш под его руку попал. Про трудные наши походы я тебе потом расскажу. Мы и Семенова-атамана били, мы и Унгерна-генерала били, у меня вот на морде с той самой поры метина осталась, да речь-то сейчас не о том будет.

Я тебе про то рассказать хочу, как мы на речку Ортосалы ходили и какой у нас с Марфушей конец получился. Все это зимой стряслось. Время я не могу правильно сказать, но только это в тот год было, когда под Якутском Пепеляев-генерал объявился. Он там все в раззор разорил, он со многих голову снял, он немало добра у якутов перешортил. На него тогда Красную Армию двинули и нас, партизан, тоже в Якутск послали.

Мы с семьями поехали. Было нас человек двадцать пять, — стайка крепкая, все из енисейских да из бодайбинских старателей. Жен мы с собой забрали, а у кого детишки завелись, те и детишек прихватили. Бабы у нас были вострого сорту и никаких походов не страшились.

Случилось, однако, то, что пока мы в дороге находились, Пепеляева-генерала успели расколотить. Мы к шапчному разбору приехали. Нам было сказано, что вот, дескать, бои теперь кончились и надо вам вставать на мирное положение. От этих слов спервоначалу скучно сделалось, но раз с нами семьи были, нам о том пришлось думать, откуда им в здешней местности какое-никакое прокормление сыскать.

У нас ремесло одно: в породе ковыряться да фарту дожидаться. Один наш партизан, Кешамонах по прозвищу, бодайбинский старатель, от своего отца не раз слышивал, что в Якутской тайге есть река Ортосалы и на той реке должно быть золотишко важное. Мы от местных жителей разные стали сказки собирать. Нам говорят, что — верно — есть такая речка Ортосалы, но только путь до нее дальний. Дальностью нас не испугаешь, — мы решили семью в Якутске оставить, а сами начали готовиться в дорогу.

Здесьнее начальство о том узнало и дало нам помощь припасами и оружием разным. Деньгами тоже уважили, как партизан красных, и инструментом снабдили, а одежду каждому новую пошили. Снарядились на славу и с тем пошли. До Джеконды были у нас подводы, а в этом месте большая тропа кончилась, и дальше отправились мы пеши и только для груза купили у тамошних якутов оленей.

Было нас всех девятнадцать человек, и шли мы от Джеконды без малого месяц. Пришли в устье Ортосалы перед большой водой и здесь встали лагерем. Ледоход продержал нас восемь ден. Время не в потерю, — мы и отдохнули тут, и починили одежду, и рассортировали груз, и вдобавок связали плот большой. Как вода сбывла, мы на плот погрузились и пошли наверх, супротив течения. Шли еще ден шесть, потом облюбовали местечко, приблизились к берегу и встали лагерем.

По приметам место на золото показывает. Нам уж тут не до отдыха, мы барачишко поставили и приступили к разведке. Оленя у нас три осталось, мы их сразу на еду прикололи. Охо-

тяться некогда было,— мы и спали-то не боле, как пять часов,— работа отрывная выпала.

Ты добычного дела не знаешь? Это, брат, что твое очко: будет фарт — преби золото, не будет фарта — протягивай ноги.

Мы разведку по руслу вели, с небольшого плотика. Бились три недели и пришли к тому, что золото здесь небогатое и россыпь вовсе работы не стоит. Ребята наши духом пали. На счастье выдался случай такой, что к лагерю выбрал орочен. Он здешний был, он оленей, что ли, своих искал и как нас увидел, то сперва испугался,— мы его успокоили, и он с нами разговорился по-хорошему. От него мы и узнали — есть тут неподалеку ключ, в котором по руслу золото нахаживали. Мы пошли с ороченом. Ключ верстах в десяти от лагеря протекал. По руслу мы сразу напали на золото.

Нам этого только и надо. Мы лагерь бросили и на ручье шетовать стали. Отвели воду, начали лес корчевать да торф подрезывать, потом бутару сколотили и приступили к промывке. Золото сразу пошло. Намывали граммов по двадцать на каждого. Ребята повеселели.

Тут якуты появились, за якутами еще две артели пришли,— одна с Зеи, другая с Бодайбо, непонятно, откуда народ про нашу удачу узнал. Эти артели по деланке взяли и начали шурфы выбивать.

Работа дьявольская шла. Двигались мы вверх по ключу, рылись в земле, от прежнего места далеко ушли. На прежнем-то месте у нас только и остался барачишко, но мы туда редко за-являлись. Спали прямо у шурфов. Пища была — оленина и еще сухари. В разгар лета китайцы

приехали. Было их четверо, и привели они трех оленей, а на оленях жестянки со спиртом были.

В нашем деле без спирту нельзя. Китайцы это правильно обмозговали. Мы им за бутылку по двенадцати граммов платили, и они от нас здорово разжились.

Ближе к осени с Амурской дороги артель стрелочников пришла, — они стрелки свои побросали и за кайлу взялись. С ними здоровенный такой мужик появился, они его дьяком звали, и он, верно, ссеменгинский дьякон был. Он и космы свои дьяконские оставил и бороду кержацкую не сбрил, а штаны на нем были широкие, со втуками, и сапоги он завел старательские, с подборами, и телогрейку надел стеганую, по форме

Немало мы на него удивлялись. Он инструмент плотничий принес и печку железную. Стали мы допытываться, на что ему пещка. Он только ухмыльнулся и хитро так сказал:

— Поживете — увидите!

Железнодорожники на делянку встали, а дьякон от них отбился. Он лес валить начал и камни в одно место стаскивать. Пила у него была поперечная, — он один наострил ее пилить. Сидит, бывало, пилит и песню про Байкал поет, — голос у него тремучий, на всю тайгу слышать.

Спросим его иной раз:

— Чего это ты, отец, строить собираешься?

Он ухмыльнется в бороду и только и скажет:

— Поживете — посмотрите!

Нам смотреть некогда. Мы по ключу далеко ушли и в лагерь редко стали заглядывать. Бывало и так — недели по две от бутар не отходили.

Время своим чередом к зиме близится, по

утрам стал иней выпадать, лист желтеть начал. Самая пора о бараках думать, а у нас до топов руки не доходят. Народ обжадовел, всякому охота побольше заробить, только и знаем, что моем песок с утра до ночи.

Один раз прибежал из лагеря якут, артелям всем про дьякона рассказал. Дьякон на что исхитрился? Он в лагере баньку поставил и теперь звал народ на открытие банного заведения. Нам это любопытно, да и попариться каждому охота,— артели все пошабанили и побежали в лагерь. Прибегаем,— верно, стоит у реки баня в один-разъединый свет, крыша у нее дерюбая, труба выведена жестяная и над трубой дымочек вьется. Дьякон на пороге сидит, ручки мохнатые свесил, на роже ухмылка,— доволен своей выдумкой.

Тут всяк зашумел: кто в ладоши бьет, кто в три пальца свистит, кто по-жеребьячи гогочет. Которые поозорнее были, те кинулись дьякона качать. Он до себя не допустил, встал на пороге, ручки вздвигнул, что твой архиерей, и гремучим голосом весь шум перекрыл.

— А ну, налетай! — гласит. — А ну, налетай, кто бане не враг! Мыться не боле часу, за раз трюх пуцаю, плата — по наперстку с рыла!

Стрелочники хотели дьякона избить, однако мы за него вступились.

— Что ж,— говорим,— и вша на теле кормится, пускай и дьякону пропитанье будет: его выдумка — его и фарт.

Уломали железнодорожников. Решили жеребьевку делать,— кому в какую очередь идти: баня ведь только трюх помещает.

Нарезали жербея, ссыпали в шапку. Дьякон

дверь расхлебавил, из бань вениками запахло, народ развеселился. Положили шалку на пень, стали жербея тянуть. Только вытащили два жербея,—кто-то вдруг как крикнет:

— Банда идет, банда!

Тут уж и не до жеребьевки. Смотрим,—из тайги и впрямь какие-то выходят, направление прямо к лагерю держат,—на старателей не похожи. Посередине трое идут,—они идут, качаются, и руки у них за спиной связаны, а шестеро мужиков по бокам двигаются, ружья у них наизготовку, а за поясами топорыки блестят. Позади баба едет. Она на олене сидит, а за ней на привязи целый аргиш<sup>1</sup> тянется, в пять или в шесть голов.

Мы смотрим во все глаза, а понять ничего не можем. Люди эти все ближе подходят. Уж нам заметно,—у связанных морды сильно избитые, а мужики, которые с ружьями, по обличью сильно на якутов смахивают. Баба, однако, русская. Она на олене едет, а в руках у нее шаган. Не поймешь, что тут к чему.

Я на бабу поглядел, и меня стала дрожь бить. Они все ближе подходят, а я боюсь себе веры дать:

«Неужто,—думаю,—это она, моя Марфуша?»

А это она и была.

## VI

Золотоискатель опять замолчал. Вниманье его приковалось к остякам, которые, подплыв к берегу, копошились у самой воды. Они, как видно, собирались ставить чум. С лодки были вытащены

<sup>1</sup> А р г и ш — олений транспорт.

шесты. Один из остяков раскатывал на галечнике берестяные полотнища. Лохматая лайка обнюхала новое стойбище. Крохотный человек — не то женщина, не то подросток — зашел с котелком в воду.

Подумав, что золотоискатель утерял нить рассказа, Марк решился спросить:

— Ну, что же все-таки с Марфушей случилось?

— Что с Марфушей случилось? — тускло повторил золотоискатель, обертываясь к Марку и глядя на него скучливыми и будто сонными глазами. — А с ней вот что случилось. Она, значит, в Якутске осталась, письма я ей не писал, да и такие могут быть письма в тайге? Мы все-таки не вовсе в неизвестности были. У якутов и слухи и слухи на большие тыщи верст передаются. Там, когда два человека встретятся, друг другу беспременно все новости обсказывают. Это вроде беспроволочного телеграфа получается.

В Якутске тогда торговцев немало находилось. Они как узнали про наш фарт, наперебой начали в поход снаряжаться. Они моментально собрались и на шести оленях товар повезли.

Марфуша к ним и пристала.

В ту пору поблизости от нашего лагеря банда одна крутилась. В ней двое офицеров были, — пепеляевские поскребыши, — и один якут, совсем из себя полоумный. Спекулянты прямо на банду и наткнулись.

По счастью у них спирту много было. Белячки спирту, может, два года не видели. Они часовым якута поставили, а сами на выпивку бросались. Понятно, от спирта они сразу одурели, а спекулянты того только и ждали.

Они часового усовестили, они с ним по-якутски поговорили, а он тому обрадовался и, с гру-рых-то глаз, оружие им отдал. Тогда спекулян-ты всю банду перевязали и поволокли к нам в лагерь.

Нам все это после обсказали. В тот же мо-мент, как я Марфушу узрел, меня из ума вы-шибло. Я без памяти к ней кинулся. Она с оле-ня снялась и тоже ко мне побегла. Мы и про народ забыли, как сбегались на полянке и друг с другом в охалочку схватились.

Марфуша первая в рассудок пришла. Пове-ришь ли, нет ли,—она сразу зачала меня ру-гать. Она все обиды свои высказала: и что за-был-то я ее, и от жадности одичал, и золото мне всего дороже.

Тут народ стал подходить. Которые с Марфу-шей знакомые, те здороваются. Она их по отря-ду знает,—однако отвечает лютю.

Народу это нипочем,—народ рад, что вот женщина появилась. Ребята смеются:

— Вот,—говорят,—счастье человеку подва-лило, доведется ему в баню без очереди идти.

Я их подпачиваю:

— Что ж,—говорю,—кому чай с огурцом, а кому и палка с дымом.

Ребята не унимаются.

— Ты,—говорят,—Теряев, теперь на все на шесть наперстков шарься. Мы уж, так и быть, полождем.

Марфуше, я вижу, этот разговор не по нраву, однако народу разве рты заткнешь?

Тут старичок вышел,—из Бодайбинской арте-ли. Он самый старейший был, мы его завсегда слу-шались. Как он на кругу встал, ребята поприв-

тихли. Они уж понимают,— старик слово молвить надо. И верно: старик шашку снял и начал свое мнение обсказывать. А мнение у него такое, чтобы нам с Марфушей баньку под жильё отдать.

Он народу так сказал:

— Ребята, я не первый год в старателях! Я вам правильно говорю: артели без мамок не живут. Это надо ценить, ребята, что у нас одна женщина появилась. Раз одна появилась,— стало быть, появятся другие. Стало быть, артели при мамках будут, а это, ребята, важнейшее дело, и народ должен первую мамку жильём наградить.

Железнодорожникам такие слова не по сердцу пришлись, а народ весь согласно закричал:

— Правильно старик говорит, правильно!

Про дьякона вовсе забыли, а он тут и объявился. Он на пенек вскочил и на всю-то тайгу голосить начал.

— Православные,— кричит,— это же грабеж получается! Али я своего поту-крови не лил, али у меня нечистикки на послугах были, али эти стены петушиным словом ставлены!

Совсем одичал дьякон,— бородицу свою тербит, одежду на себе полосует и притом ревет, как медведь.

Я к нему спокойно подхожу.

— Так и так,— говорю,— дьякон, мне твоего не надо,— покушаю баньку за все за свое золото!

И сразу протягиваю мешочек, а он фунта на четыре весом.

Дьякон было уперся, он даже весь побелел,— однако народ на него закричал, и он тогда по-

нял, что уж больше кобениться нельзя. Взял мешочек и сразу с пенька сковырнулся. Мне золотишка не жаль. Мне Марфушины укоры в обиду были, и я тому рад, что она нежданность мою увидела.

Опять же с квартирой мы стали, а золотишка-то я завсегда намою.

Ребята смеются, нас поздравляют.

У народа другая забота. Народу то надо рассудить, какой над жиганами поступок сделать. Тут поднялся крик, мы с Марфушей этим пользовались и тихим манером пошли к своей новопкупке.

Квартира неказиста, да в тайге где другую сыщешь? Главное, тепла она, зимовать, стало быть, можно. Мы так и порешили: перезимуем зиму, а там уж видно будет. Вышло, однако, не по-нашему, и вина во всем моя была.

Мне бы как надо жить? Мне бы тихо да смиренно надо жить, а я этого не могу, чтобы тихость была. Тебе любой золотишкатель скажет, какой мы народ шатуший. Ежеж где золото откроется, старателя на месте не удержишь.

У нас вот так же вышло.

Мы в Ортосалах славно робили. Народу собралось много, мамки при артелях подходящие подобрались, золотишко ровное шло, а нам этого мало. Кто-то сболтнул, что на Тырканде орочены бешеное золото гребут. Наша артель дележку бросила и побегла на Тырканду. Марфуша меня не пускала, но я от артели отбиться не мог. Марфуша тогда погрозилась: дескать, плохо тебе будет,—однако я это без внимания оставил.

На Тырканде слова ее вспомнились. Орочен мы не нашли. С продовольствием сразу стало туго.

Натежда осталась только одна, — что на нас якуты набредут.

Стали мы робить.

Земля совсем мерзлая сделалась. Мы ее кострами оттаивали, на проталинах срезали торф, а после били шурфы. Так ден десять маялись, — толку никакого. Припасы к концу подходят, а якутов не внять. С пустыми руками совестно домой идти. Мы робим день и еще два дня. Тут вдруг зима грянула.

Дело плохое, а гадать уж времени нет. Мы шурфы бросили и побегли обратно. Трое померли дорогой.

Я в Ортосалы вовсе разоренный пришел. Тут беда и развлялась. Не напрасно Марфуша грозила, что мне плохо будет. Оно так и стало: отходил я от жены, а воротился к пустому месту. В бане нашей болайбинцы живут, а от Марфуши только письмо осталось.

Она пишет: любила, — доскать, — я тебя. Петра, от всего сердца и бегала за тобой как собачка, а ты меня не послушал и отошел на Тырканцу. Ты того не знал, что у меня ребенок будет, а с твоим-то характером ребенка растить нельзя. Я бегала за тобой, пока простая была, а теперь этого нельзя. Уезжаю я отсель с одним человеком и прощаюсь с тобой навек. Ты меня не ищи, потому что я хоть и слезами умоваюсь, а повернуть меня обратно нельзя.

Убила она меня этим письмом. Я доподлинно знаю: ее не воротить. Она и раньше правная была, а тут, как ребенок в утробе завелся, то и вовсе дикошарая стала.

Искать ее — я не искал. Тут что поделаешь? Не понял своего фарту, значит, так мне и надо.

Она — слух был — теперь в Бодайбо живет. Муж ее там машинистом на кукушке ездит. Если со стороны помотришь, — она правильно поступила. Со мной ей спокойно не было. По старательскому своему делу я на месте сидеть непривышный. Вот и сейчас, скажем, — я месяца на два в лямку встану, а потом, как с Тунгуски вернусь, может, на Колыму подамся.

Теряев вздохнул и так сцепил пальцы, что они хрустнули. Марк старался не смотреть ему в глаза. Некоторое время они сидели молча. Утренний туман успел рассеяться, солнце припекало спину. Остатки поставили чум, и его блеклый силуэт отчетливо вырисовывался на солнечном просторе. От чума легла на гальку коническая тень. Крохотный человечек, — не то женщина, не то подросток, — варил в котелке какую-то еду. Белый дым восходил прямо, совершенно не колеблемый ветром. Наступил полуденный час.

— Итти мне пора, — сказал вдруг старатель и, встав, начал отряхивать прилипший к штанам песок.

Марк тоже поднялся. Ему не хотелось расставаться с собеседником. Уверенный в том, что Теряев за бутылкой мог бы поведать еще более интересные истории, он стал звать его к себе.

Теряев усмехнулся и сказал, что от выпивки он никогда не отказывается, но что сейчас ему некогда.

Немного подумав, он добавил:

— Мы вот как сделаем. Вечером у нашей артели шроводины будут, и ты к нам приходи гостевать вон в ту избу, третью с краю. Там мы

с тобой выйдем на прощанье, а ты за одним посмотришь, как лямщики наши гуляют.

Сунув Марку жесткую ладонь, Теряев еще раз сказал, чтобы он обязательно приходил, и широко зашагал по двору.

## VII

«Удалецкие сказки!» — думал Марк, глядя вслед Теряеву. Он знал, что такая форма фольклора очень распространена в Сибири. Возникла эта форма у бродяжых огней. Бродяги книг не читали, но, собираясь у таежных костров, рассказывали друг другу всякие бывальщины.

В «удалецких сказках», как правило, всегда присутствует генеральская или купеческая дочь, которую обольстил бродяга. В этом смысле рассказ старателя был чрезвычайно традиционным.

Но Марка это не беспокоило.

«Пусть удалецкая сказка! — думал он. — В ней все же раскрывается правда землепроходцев».

Это было для него необычайно важным, потому что он очень давно и очень пристально интересовался землепроходцами. Он собрал все, что было написано о землепроходцах. Теперь, когда он поселился на Енисее, эта тема преследовала его особенно неотступно.

Здесь нельзя было не думать о землепроходцах.

Перед его глазами ежедневно и ежечасно простиралась великая река. За рекой на большие тысячи километров разлились моря, целые океаны тайги. Невольно вспоминались люди, которые первыми пересекли этот сухопутный океан.

С поразительным бесстрашием землепроходцы перелезли через Камень и шорвались в Сибирь.

Слабые ватажки в одну-две сотни человек топорами прорубились сквозь десять тысяч километров тайги. Всего шестьдесят лет понадобилось на эту гигантскую работу. Если какой-нибудь Ивашка Большой оставлял позади Каменный пояс или иначе Урал, то его сыну, Ивашке Малому, удавалось увидеть волны Великого океана. Всего два русских поколения понадобилось для совершения одного из величайших подвигов истории. Ученые установили, что поколения эти пришли в Сибирь за мехами. Марк долгое время довольствовался этим объяснением. Он не сразу понял, что ученые установили лишь часть правды. Полная же правда заключалась в том, что землепроходцы гнались не только за убегающими кунницами, но и за убегавшей волей. Он понял это тогда, когда сопоставил две даты: начало движения землепроходцев и возникновение русского абсолютистского государства. Картина получилась такая.

Иван Третий, начав строить русское единое государство, собрал под своим новым, от Византии унаследованным, гербом земли Московские, Тверские, Новгородские, Рязанские. Смелые и вольные люди, по преимуществу выходцы из Великого Новгорода, стали ускользать из рук царя. Сберегая свою свободу, вольница частью уходила на Север, частью просачивалась в Сибирь.

Воеводы царя шли по следам беглецов. На скрещеньях путей воеводы ставили крепости. Вольница уходила от воевод, воеводы настигали ее на новых местах. Так, в погоне за волей, русские дошли до Тихого океана. Дальше идти было некуда, но русские переплыли моря и стали распространяться в Америке.

Марк пытался распутать пути землепроходцев. Поиски оказались не совсем успешными. Он только осознал, что способность русских к освоению новых пространств совершенно безгранична. И он был очень обрадован, когда нашел у Толстого определение этой способности, как завладевающей силы русского народа. О завладевающей силе русского народа Толстой собирался написать роман. В центре романа должны были стоять тамбовские крестьяне, которые пришли в Сибирь и засеяли здесь поля. Им сказали, что эта земля киргизская. Они сняли урожай и отправились дальше. На следующий год было сделано то же самое. Так они дошли до китайской границы, обосновались там на чужьей земле и называли ее реки именами своих тамбовских речек. Если б Толстой написал такой роман, он изобразил бы тамбовских мужиков, как деятелей русского исторического процесса. В противоположность мужикам, генералы и разные цари были бы им показаны, как люди, которым ошибочно представляется, что они делают историю. Этот роман был бы историческим не в смысле официальной, а в смысле народной истории.

Чем больше Марк думал о землепроходцах, тем ярче утверждался он в мысли, что цари спасались Сибирью. Если б вольнице некуда было убегать, она вступила бы в активную борьбу с царями. Революционный жар, накаплившийся в Московии, утекал за Камень. В наше время, в борьбе против фашистской чумы, пространство, занятое землепроходцами, стало нашим щитом в такой же мере, как и единство народа и мудрость партии. Народ, живущий на одной шестой мира, не может быть сломлен.

Следовательно, землепроходцы потрудились не даром. Нужды нет, что они не вошли в историю. Они были историческими деятелями в большей мере, нежели какие-нибудь Остерманы или Минихи. Официальная история писалась с оглядкой на царей. Ивашке Малому или Димитрашке Непомнящему «невместно» было восседать в истории с Иваном Грозным или Тишайшим Алексеем. От всех землепроходцев вошел в историю один Ермак. Но он вошел как-то боком. Народ не хотел отдавать его царям. В своей живой истории народ по-своему осознал значение Ермака. Недаром же так полюбилась народу песня о тяжелом панцире, коварном «даре царя», которым был погублен герой. И Марк твердо уверился: Ермак был бы Разинным шестнадцатого века, если бы не стал завоевателем Сибири.

## VIII

Вечером Марк пришел в избу, указанную Теряевым.

Артель справляла проводины. Человеку восемь лямщиков сидели за столом, тесно уставленным бутылками. Марк спросил Теряева. Рябой, с бельмом на одном глазу лямщик указал на обширную печь и насмешливо сообщил, что Теряев уже «доспел». Марк обернулся и увидел кудлатую голову Теряева, бессильно свесившуюся с печи.

Пробормотав извиненья, Марк взялся за скобку двери. Лямщики не дали ему уйти. Рябой мужик опростал место за столом и добродушно попросил, чтобы Марк оказал уважение и погостевал с ними.

Марк охотно согласился.

Накормив его рыбой и заставив выпить три стопки подряд, лямщики стали выспрашивать, какие у него занятия и откуда он прибыл. Марк, как мог, ответил. Выслушав его, рябой лямщик заключил:

— Значит, ты картинками кормишься? Ну что же, от безделья и это дело. А нас вот лямка кормит,— она, матушка, хребтину ломает, да зато хлеб-соль дает.

Он начал восхвалять лямку. Марк слушал его и думал, что если лямщикам показать репинских «Бурлаков», они прежде всего отметили бы, что бурлаки идут привольным берегом. На таком берегу и при таком спокойном течении нечеловеческая напряженность нарисованных художником фигур показалась бы им неправдоподобной. По-своему они были бы правы. Тунгуску нельзя даже сравнивать с Волгой.

Тунгуска — самая дикая река во всем бассейне Енисея. Берега ее обставлены скалами, или, как здесь говорят, «камнями». В тех местах, где скалы особенно тесны, река непутево ревет и плюется пеной. Тунгуска не течет, а прыгает. Никто не определял силу ее прыжков. Но лямщики знают: когда влекомая ими ладья взойдет «на порожек», им надо «кланяться». И они «кланяются».

Попросту говоря, они падают. Тунгуска бесится внизу, а они лежат и цепляются за выступы. Страшное единоборство длится часами. Тунгуска «держит» ладью, а лямщики «вытергивают вершки», то есть вершками продвигают ладью. Лямщик должен твердо знать, когда можно осилить реку и когда нужно уступить. Тут уж шпрядно-

вать труса нельзя: растерялся человек, — натянется тетивой бечева — и лямщик уже сдернут с камня. Такие случаи бывают. А случаи тяжелых ушибов в расчет не принимаются.

Марк твердо знал, что ремесло «лямки» под силу только богатырям. Но среди лямщиков, которые сидели за столом, он не видел богатырей, как не видел и красавцев. Прямые потомки землепроходцев, это были обыкновенные для здешних мест русские мужики, совершенно потерявшие русское обличье.

Приземистые, коротконогие, они скорее были похожи на остяков, нежели на русских. Плечи у них сутулились, как у остяков, и скулы грубо торчали. Только глаза были русские — синие глаза новгородских ушкуйников да поморских бродяжек. Марк смотрел в эти глаза и все крепче утверждался в той мысли, что предки здешних людей пришли сюда из Господина Великого Невгорода или с Русского Поморья.

Он расспрашивал лямщиков об их предках, но они прочно запомнили свои родословия.

Только один из них, которого они все называли «старшей» и еще «батей», — только он один мог назвать своего прадеда казака Лаптукова.

По его словам, казак Лаптуков жил в острожке на Есейском озере, а оттуда не раз ездил с ясаками в Якутск. После одной такой поездки Лаптуков был оставлен в Якутске и прожил там лет тридцать. Когда его уволили от службы, он вернулся в Есейский острожек и там женился на молоденькой самоедке. Впоследствии он обвенчался с этой самоедкой, и в год венчания ему уже было за семьдесят и детей у него было

одиннадцать, «из коих парней шестеро, а девок пять».

Это было все, что лямщик знал о своем прадеде. Потом он вспомнил деда — Евдокима Лептукова и захотел рассказать один, как он выразился, «пример».

— Однава было, — сказал он. — Ехали мы с дедом домой. Я тогда уж в возраст входил, и дед всюду меня брал, уму-разуму учил. Ехали мы с Толстого Носа, дорога не ближняя, а ночь темная была. Однако все обошлось добром, — приехали домой по-здорову. Как приехали, дед мне и говорит: «А что, внучек, можешь ты в темную дорогу ездить?» Я отвечаю, дескать, точно: могу ездить в любую дорогу. Дед тогда говорит: «Вот тебе, внучек, пример. Как мы сюда ехали, я флягу с вином выронил, и ты теперь поезжай и тую флягу сыщи». Я спрашиваю: «А в каком ветру, дедушка, ты флягу-то бросил?» Дед говорит: «Об этом не спрашивай. Ищи, как знаешь». Ну, я и поехал и тую флягу невдалеке сыскал, — дед ее распечатал и мне малость поднес.

Едва лямщик успел рассказать «пример», как рябой заиграл на гармошке. Батя вихрем сорвался с места и пустился в пляс. Низкорослый, кривоногий, необычайно широкий в плечах, он плясал с молодецкими вывертами и разбойным пошвистом. И когда, измученный и счастливый, он плюхнулся на скамейку, пьяные лямщики истохо сказали:

— Спасибо, старшой, повеселил нам сердечушко!

Один из лямщиков, белесый, длиннорукий, сел рядом с батей и, облапив его за плечи, грозно обратился к Марку:

— Баской у нас батя? Баской, я говорю, а?  
Марк признал, что батя действительно баской,  
то есть красивый.

Лямщик не унялся:

— Ты погляди, какой у него волос темный!  
Ты погляди, ажно светит волос, светит, я гово-  
рю, а!

Волосы у старшого действительно светились:  
так они были черны. У Соловья Разбойника бы-  
ли, наверное, такие же кудри и такая же смоля-  
ная борода. Соловьем Разбойником сидел батя, и  
глаза сияли под его косматыми бровищами.

Отдохнув от пляса, он сказал:

— Изладим-ка, ребята, песню! — и, запроби-  
нув голову, зашел сильным и чистым голосом:

Ты, труба ли моя, трубочка,  
Воструби, труба, по-раннему.

Лямщики дали ему вывести запев и дружно  
подхватили:

А во утре-то нам в путь брести,  
Во студеное, знать, морюшко...

Хмельные лица певцов стали вдруг печальны-  
ми. Заунывно и торжественно ладили они пес-  
ню, и Марк слушал их и думал о том, что эту  
песню принесли с собой прадеды их прадедов.

Прадеды их прадедов пришли сюда из Велико-  
го Устюга, из Великого Новгорода из Чердыни,  
из Старого Хлынова. На женках Самояди и Югры  
оженились давние прадеды, и вот повелась дико-  
винная «смешидца», народ нерусского обличья, но  
с русскими бесстрашными глазами и русскими  
проголосными песнями. Малыми ручьями втекли  
в здешние реки русские необильные струи. Но

не потерялись те струи в толще чужедальних рек — тугими потоками пробилась те струи в самую стремнину рек и, укрепясь их силой, пока- тились к студеным морям Севера и желтым мо- рям Востока.

Ах, и взвеют ветры по полю,  
Ах, и грянут веслы по морю! —

выводил протрезвевший батя, и голос его тонул в прибое хора:

По морю грянут веслы, да по чистому,  
По морю грянут веслы, да по синему...

Марк слушал песню, и озноб одевал его, и сле- зы закипали на глазах, а сердце больно сжима- лось и вдруг падало, падало...

1937—1938 г.

## В ЛОДКЕ

Енисей — свинцовая волна: таким увидел его Марк с борта остяцкой лодки.

Причиной этого путешествия были поиски шаманского костюма, который вдруг понадобился киноэкспедиции. Ехать нужно было в район Игарки, и Марк сам вызвался в курьеры. Когда лодочка отошла от берега, он уткнулся на ее тонком днище, подбил под спину рюкзак с консервами и успокоенно улыбнулся.

Остяк Фома Пеших, наемный лодочник, сел у него в ноги и начал работать веслом. Одетый в суконную пару и рыбацкие унты, остриженный по здешней моде «под польку», — Фома Пеших мало был похож на остяка. Глаза у него, правда, были раскосые, и скулы круто выступали на бледновато-желтом лице, но в здешнем народе не часто встречались люди, которые не были бы раскосыми и скуластыми. Только странная неподвижность лица выдавала нерусское обличье Фомы.

Он сидел, сложив ноги калачиком, и усердно греб.

Весло у него было с двумя лопатками, — он держал его посредине, погружая в воду то одну, то другую лопаточку. С каждым ударом лодочка

удалялась от города. Городские строения проплы-  
вали мимо, и берег заслонял их одно за другим.  
Раньше всего исчезли избы с резными ставенька-  
ми и серые корпуса больницы. Потом скрылись  
из глаз бревенчатые стены Интегралкооперации  
и зеленые крыши рика. Скоро одна только мач-  
та радиостанции да еще белая колокольня мона-  
стыря остались маячить на том месте, на кото-  
ром полагалось быть городу. Потом серый выступ  
скалы закрыл и мачту с колокольней, и Марк  
оказался наедине с рекой.

Лодка держалась у берега. Волны, которые на  
середине реки вскидывались так высоко, что за  
ними не виден был противоположный берег,—  
здесь, под защитой скал, превращались в сережь-  
кую рябь. Качка все же была ощутима, и дрема  
скоро стала донимать Марка. Осторожно отодви-  
нув рюкзак, он вытянул затекшие ноги и улегся  
на дно лодки.

Лиловато-серые тучи плыли над свинцовой  
рябью волн, чайки взмывали ввысь и падали,  
точно скатывались с горки. Марку было хорошо.  
Только голове было жестко от консервных банок,  
да еще неприятен был лиловатый запах рыбы,  
которым пропиталась лодка. Тонкий слой дерева  
отделял человека от воды,— журчанье ее отда-  
валось в каждой кровинке.

Остязк все треп и треп.

Лопаточки равномерно вскидывались и, взблес-  
кивая, легко касались волн.

«Ангел с деревянными крыльями, — неожида-  
но подумал Марк. — Да, ангел, желтый лодочник  
смерти. Говорят, славяне хоронили родичей в  
челнах. Но, кажется, они сжигали челны, а их  
надо было б опускать на реку».

И Марку представился челн покойника, плывущий к морю. Волна покачивает открытый гроб, а на берегу девки поют проголосные песни, и ветер тихо шелестит травой, и миллионы мотыльков блистают прозрачайшими крылышками. Ночью девки побросают в воду венки, цветы прибьются к челну и поплывут с ним вместе. Дрема сядет на корму и, закрыв синие глаза, запечалится над дальним странником.

Нет, не огонь, не воздух, но земля,— вода должна быть местом упокоения.

Но Марк не был покойником, лежать стало неудобно, очень мешал браунинг, засунутый в карман брюк, и он вынул его. Остяк положил весло поперек лодки и тихо сказал:

— Мальчик-ружье. Какое его дело? Белку добывать, однако, нельзя?

Марк объяснил, что браунинг рассчитан не на охоту, а на защиту от злого человека.

— Злого человека! — повторил остяк и вновь принялся грести.

Марк затумался, закрыл глаза. Фома вдруг крикнул: «Эге-гей!» Картина была все та же: серый берег, свинцовая волна, и только впереди виднелась лодка. Фома сигналил, размахивая веслом. Встречный гребец принял сигналы и пошел на сближение.

Через несколько минут лодки встали борт о борт, и Марк получил возможность рассмотреть незнакомого гребца.

Это был совсем старый остяк — Марка удивил его «индейский» медно-красный профиль и борода из нескольких седых волосков. Засаленная синяя тряпка поддерживала седые космы старика, свалывшиеся на темной шее. Ткнув в сторо-

ну Марка корявым пальцем, он о чем-то спросил Фому. Фома вынул трубку, раскурил ее и после двух или трех затяжек ответил по-остяцки.

Остяк достал свою трубочку с медной закованной крышечкой и тоже закурил.

Марк с любопытством поглядывал на лодку старика. Узкая, длинная, почерневшая от воды и солнца, она очень была похожа на те дикарские пироги, которые в детстве Марку приходилось видеть в иллюстрированных изданиях «Робинзона Крузо». В лодке у старика ничего не было, кроме потертой оленьей шкуры. Куда же он плыл с такой скудной поклажей?

Разговор кончился. Собесетники одновременно выбили золу из трубок, и Фома отпихнулся от чужого борта. Лодки разошлись.

Марк долго смотрел вслед старику. Лодка его все уменьшалась и уменьшалась. Когда она растаяла в свинцовой серости дня, Марк спросил Фому:

— Это твой знакомый был?

— Однако нет,— не сразу ответил Фома.— Это чужой старик, вовсе дальнего роду старик.

— Почему же ты его остановил?

Фома поглядел на Марка и с явным удивлением в голосе сказал:

— Человек снизу плывет, я сверху плыву. Однако у него низовская говорка есть?

«Говорка! — подумал Марк.— Это, конечно, означает новости. Вот бежит к океану огромнейшая река, от обеих ее берегов на тысячи километров простирается тайга, человек бродит по тайге, подолгу оставаясь наедине с природой, — немудрено, что он устремляется к другому человеку, как к лучшему, как к желаннейшему другу».

Марк всматривался в неподвижное лицо докласового человека Фомы Пеших и с любопытством думал: знает ли он, что такое счастье? Можно было бы спросить об этом Фому, но он, наверное, не понял бы вопроса или ответил бы так, что ему очень хорошо, когда в чуме много рыбы, и очень плохо, когда рыбы мало. Конечно, ему редко бывает хорошо, потому что для накопления избытка он слишком плохо вооружен.

Фома не догадывался о размышлениях Марка. Они были бесплодны, и Марк прекратил погоню за разбредающими мыслями. Хорошо было лежать, прислушиваясь к журчанию воды. Деревянные лопаточки вскидывались и погружались. Дрема уселась на корме, травяные ее волосы растелились по волнам, и лодочник стал расчесывать их своим веслом.

Си-и-лит дре-е-ма,  
Си-и-лит дре-е-ма,  
Сидит дрема.  
Сама дремлет, сама спит...

Неизвестно кто пел о дреме. Может быть, лодочник пел? Нет, он расчесывал травяные волосы,— о дреме пел ветер. И ветер пел еще о том, что самое важное на свете — это... Нет, неизвестно, что самое важное на свете. Может быть, ничего важного и нет, а есть только журчанье воды, и медленный ход рыб там, в темной глубине, и тихое шевеление бледнозеленых водорослей, и еще равномерное дыхание — простой вдох и выдох. Все же остальное — сыпнотифозный бред теснот. Да бред — вред, вред — бред и дрема, дрема, дрема.

И опять крикнул остяк,— Марк очнулся и уви-

дел лодку, плывущую снизу. Встречный гребец шел речнее<sup>1</sup> Фомы. Ответив на сигнал, он направил лодку к берегу. Фома также изменил курс.

«Сейчас задымятся трубки!» — подумал Марк, но Фома вдруг юркнул: «Хыйт!» — и затабанил так резко, что лодочка дрогнула и закружилась на месте. В то же мгновение встречный отвернул от берега и опять пошел речнее.

Марк с удивлением глянул на Фому. Лицо гребца побатровело, в раскосых глазах затлелись огоньки. Что это могло означать?

— Фома! — сказал Марк, глядя на удаляющуюся лодку. — Он снизу плывет, может, у него какой говорка есть?

— Хутой его говорка! — сердито отозвался Фома — Сам он тоже хутой. шаману Савоське сын будет, такой хутой — Хыйт, по-вашему волк!

Так вот оно что? Но что же сделал Фоме этот Хыйт, по-нашему волк?

Фома усердно греб, будто стараясь поскорей уйти от места встречи.

Больше не было произнесено ни слова, и только вечером на песчаной косе (здесь путники решили устроить привал) разговор о Савоськинском сыне возобновился.

Фома, как видно, не отнажды бывал на косе. Он сразу выбрал место для ночлега, быстро набрал сушняку, развел костер, скипятил чай, разогрел мясные консервы. Двигался он споро, но северный вечер догнул мгновенно, и путникам довелось ужинать при свете костра. Сумерки сгустились над косой, река исчезла в ночи, и толь-

---

<sup>1</sup> Речнее — то есть дальше от берега.

во там, где ее тяжелое зеркало сходилось с серовато-темным куполом неба, отчетливо была видна широкая аспитно-черная полоса лесов. Ветер совсем прекратился, — в наступившей тишине слышались только плесканье реки и ровный шум деревьев. Наступил час неторопливых разговоров.

— Он худой человек, — сказал Фома, набивая табаком трубку, — Савоська тоже век был худой.

Марк затаил любопытство и с самым равнодушным видом спросил, почему же Савоськин сын — худой человек.

— Худой, худой! — убежденно повторил Фома. — Совсем худой, борони бог! Он заказник зорил, он вешнюю белку добывал. Хороший человек разве будет вешнюю белку стрелить?

Так вот оно что: Савоськин сын нарушил заказник! Но о каком заказнике шла речь?

Фома выхватил из костра уголек, бросил его в трубку и, закуряв, пустился в объяснения.

Сначала он пожаловался на плохие промысла, и в этом не было ничего удивительного, потому что на Енисее все говорили о плохих промыслах. Остяки особенно тяжело переживали кризис охотничьего хозяйства. Местные люди говорили Марку, что у остяков не осталось оленей, олени же были здесь необходимыми для откочевок в дальнюю тайгу, где только и сохранилось зверье. Все это Марк знал превосходно, но то, что сообщил ему Фома, все же его поразило: оказывается, люди ниже-байхинского рода, к которому принадлежал Фома, объявили часть своих родовых угодий заказником пушного зверя. Именно в заказнике поставленный на его охрану Фома столкнулся с Савоськиным сыном. Русские охот-

ники по неведению иной раз быют внешнюю белку. Савоськин сын разорял беличьи гнезда в отместку за отца, исключенного сугланом<sup>1</sup> из состава рода. Фома хотел арестовать худого человека, но худой человек взял наизготовку свое ружье — малопульку.

— Он это место меня стрелил, — говорил Фома, показывая рукой на правое плечо, — он потом убежал, а меня, спасибо, люди нашли. Люди меня в больницу тащили. Царапка-доктор пулю хорошо доставал, — видишь, однако, живой остался.

Так закончился рассказ Фомы, начавшийся жалобами на промысла. Марк ни слова не сказал Фоме, — он оценил теперь всю наивность мыслей о доклассовом человеке. Не дожлавшись отзыва на свои слова, остяк выбил золу из трубки и осторожно спросил:

— Однако спать будешь?

Марк поднялся, взял из лодки одеяло и расстелил его неподалеку от костра.

— Так не ладно! — сказал Фома. Он вооружился топориком и запагал к деревьям, темневшим на невысоком берегу. Через несколько минут он вернулся с охалкой сосновых ветвей. Около того места, где Марк расстелил одеяло, остяк сбросил ношу и старательно стал разравнивать ветви. Потом он застелил их одеялом и, устроив изголовье, укоризненно сказал:

— Однако так надо. Теперь век спать можно, а мне мальчик-ружье давай.

— Зачем тебе мальчик-ружье? — удивленно спросил Марк.

<sup>1</sup> Суглан — собрание рода.

— Однако сторожить буду! Савоськин сын — худой человек, совсем худой, борони бог!

Марк отдал браунинг и лег на лесное ложе. Фома отнес в лодку пустые банки, потом подбросил в костер хворосту и сел на песок, обхватив руками поднятые колени. Браунинг он положил рядом с собой.

Костер разгорелся. Он полыхал посреди круга, трепещущего на песке, и розовый дым восходил над ним, медленно истаявая в небе.

Марк лежал прямо под Полярной звездой, она сияла голубой льдинкой, вокруг же были рассеяны звездные множества. Глядя на темный и неподвижный силуэт Фомы, Марк думал о землепроходцах. Вот и они сидели так у догорающего костра — бесстрашные русские мужики, не нашедшие счастья на своей земле. О чем говорили они под этим чужим небом, так не похожим на родное небо Чердыни, Вологды или Великого Устюга, о чем тосковали они под этой дальней, под этой голубой звездой?..

...Марк проснулся на рассвете. Было очень холодно. Он корчился, как береста на огне, и ветви трещали под ним. Остяк у дотлевающего костра настороженно вскинул голову.

— Озлобился? — тихо спросил он. — А какой твой говорка будет: пам можно заказнику имя Сталина давать?

Марк удивленно ахнул: как же это он не вспомнил, — Сталин отбывал здесь ссылку, он, быть может, сидел у такого же одинокого костра и, окруженный великой тишиной ночи, думал о Грузии, о Петербурге, о революции или о том, что вот струится в ночи русская великая река и сила ее бега расточается напрасно в мертвом

простирания промерзлых тундр. Наверное, он думал и о землепроходцах,— человек, попавший в эти места, не может не вспомнить о землепроходцах, потому что только здесь по-настоящему оценивается подвиг непостижимых русских людей, которые перешли Уральские горы и топорами прорубились сквозь десять тысяч километров леса, чтобы в конце концов выйти к берегам Великого океана.

Марк вдруг твердо поверил: Сталин был на этой юсе. Сталин думал о землепроходцах. Их бесстрашие родственно его бесстрашию. Подобно землепроходцам, погружался он в океан тайги, уходя из гиблых своих ссылок. На всю жизнь, наверное, запомнился ему Енисей,— здесь в торжественной тишине ночи слушал он плесканье реки, шорохи ночного леса и свистящие полеты птиц.

Марк сел на зеленом своем ложе и твердо, несколько даже торжественно, сказал:

— Назовите заказник именем Сталина, непременно назовите.

## ПОХОД

Инструктор Хрущ рассказал Марку историю своего похода к тунгусам. Марк записал эту историю со стенографической точностью. Вот она:

— Было это в двадцать третьем году. В ту пору был у нас председателем рика Филипп Бабкин, бывший партизан. Хорошо. Однажды призывает меня Бабкин и говорит:

— Вот тебе боевая задача, — пройди до тунгусов иль не возвращайся назад.

Я сразу подумал:

«Ну, пропал Савельич!»

В ту пору такое положение было; в городе у нас советская власть, а в тундре никакой власти нет.

С восемнадцатого году пачалась у нас война. Восвали белые с красными, потом партизаны с белыми, потом пришла Красная Армия и стала вылавливать белых. Видя бой и беспорядок, тунгусы ушли в тундру. Решили они, повилятому, отсидеться от войны. С двадцатого года мы от тунгусов были отрезаны.

На всех путях в Илимпею стояли тордоны князя Чунго. Чунго Хирогирь тунгус был видный. В царское время он с приставом да с кушцами компанию вел, при Колчаке помогал белым вылавли-

вать большевиков, которые из Красноярска на пароходах вниз ушли и после в тундре скрылись.

В общем Чунго был враг советской власти.

Хорошо. Пошел я рвать его кордоны. В проводники мне дали пастуха Афанасия. Он тунгус, толмачить может,— человек, значит, подходящий, к тому же к советской власти приверженный.

Идем мы оленьим аргишем, по-вашему сказать — обозом. Тундра пустая. Дошли до Агата-озера. У Агата-озера, на берегу, сиден чум.

Мы обрадовались, подходим ближе. У проруби стоит тунгус, готовит пушальню<sup>1</sup>. Афанасий сообщает: это, дескать, Федор-тунгус, и идет к нему.

Федор спрашивает Афанасия: не большевик ли я. Афанасий отвечает:

— Большевик!

Федор бросил пушальню и побежал. Афанасий за ним.

— Остановись,— кричит,— это хороший людя, наш людя!

Федор остановился. Я подхожу, он спрашивает:

— Какой земля человек?

Я отвечаю, что, дескать, из города.

Он опять спрашивает:

— Михал Михалыча городе знаешь?

Я соврал:

— Родня ему.

Федор успокоился. Начал выспрашивать, какой я начальник и какое у меня дело в тундре.

Я объяснил. Говорю ему: в тундре мне надо

---

<sup>1</sup> Пуш а л ь н я — рыболовная снасть.

народ посмотреть и новую власть поставить, чтобы тунгусы могли попрежнему белку добывать и на хлеб да на припас шкуру выменивать.

Тунгус обрадовался.

— Дело, — говорит, — хорошее!

И тут же сообщает: дело это надо проводить скорее, потому что народу живется худо, а на Еконде люди с голодухи поели ровдужные ремни.

Хорошо. Устроили мы совещание. Порешили созвать суглал на станке Орон. В ту пору подъехал на оленях еще один тунгус. Мы и его на совет пристегнули, а после послали оповещать народ относительно суглана. Князя Чунго, по совету Федора, я заказал особо пригласить.

Хорошо. Станок Орон верстах в шестидесяти от Федорова чума находится. Приезжаем мы на этот станок. В балагане тунгусы дожидаются, — человек пятнадцать.

Началось чаепитие. Я для знакомства мешок сушки пожертвовал и колбасу, которую мне в городе дали. Себе оставил ровно половину.

Сидим, разговариваем. Тунгусы про голод на Еконде рассказывают, а я про новые порядки.

Под вечер приехал Чунго с родней. Входит в балаган, — сокуй на нем богатый, бакари из нарядных камасов, шапка из выпорotka. Видом князь неважный — высокий, худой, глаза бегают, усы тараканьи.

Люди подвинулись, дали ему место. Он сел. Я молчу, первый не заговариваю. У тунгусов повелось так: кто первый заговорит, тот через то повинность кажет. А мне надо марку держать.

Хорошо. Потрогал князь ушки и спрашивает:

— Толмач е-есть?

Голос у него тоненький. Я спокойно отвечаю:

— На что тебе толмач? Ты ведь по-русски можешь?

Князь усмехнулся. Спрашивает, какой я начальник.

Я отвечаю:

— Инструктор!

Князь опять усмехнулся:

— Ты, — говорит, — плохой начальник. Где, — говорит, — сашка да медали твои?

Я ему объясняю: еду, дескать, я не с плохим делом и в оружии не нуждаюсь. Прежний начальник с сашкой ходил, потому что народа очень боялся.

Чунго усики теревит и говорит свое:

— Никакой тебе дела в тундре нет! В тундру ты не поедешь!

Я сделал вид, что не понял угрозы. Подаю князю чай, достаю сахару. После того выхожу на волю, будто по нужде.

Вышел на волю и тут же к князевой санке кинулся. Обыскал санку, вижу — одна одежда. Успокоился, пошел в балаган, сел опять же в круг.

Чунго вдруг спрашивает:

— А Колчак-генерал где?

Я отвечаю:

— Колчака за худые дела в тюрьму посадили. По-настоящему сказывать не решаюсь, чтоб тунгусов не испугать.

Но Чунго, должно быть, правду прослышал.

— Убили, — говорит, — вы Колчака-генерала.

И тут же спрашивает:

— А Денжкия-генерал где?

Я говорю:

— Убежал в чужую землю.

Чунго не верит.

— Убили, — говорит, — вы Денякина-генерала!  
И про Врагеля спрашивает. А сам ухмыляется. Я рассердился.

— Старик, — говорю, — ты про генералов не путай. Скажи-ка лучше, сколько ты красных людей убил?

Народ смотрит на нас во все глаза. Чунго растерялся и побелел. Я про себя думаю: «Наша взяла!»

Сразу стало полетче. Начал я рассказывать про советскую политику. Рассказывал всю ночь.

Под утро князь говорит:

— Пропускаю тебя в тундру и даю свою санку. Проводником тебе пусть Федор будет!

С тем и уехал. Федор с ним ушел за санкой. Я пал на свою лопатину и тут же заснул.

Проснувшись от разговоров.

Слышу: разговаривают Федор с Афанасием, разговаривают по-тунгусски и в разговоре часто город упоминают.

Я говорю Федору:

— Рассказывай новости!

Федор на Афанасия показывает:

— Пускай Афанасий говорит!

Я к Афанасию. Он не в себе:

— Ты, — говорит, — обманщик, вот кто ты. Поговорил, — говорит, — про большевиков хорошее, а большевики в городе из ружей палят и войну делают.

Я напугался. Дальше-больше, — история запуталась. Оказывается, Чунго дня за три до суглана послал в город разведчика. Разведчик доехал до окраины и тут услышал выстрелы. Какой-то человек вышел к нему и оповестил:

— В городе война!

Разведчик повернул обратно, с тем и приехал к князю.

Я выслушал рассказ и забеспокоился: уж не белые ли напали на город? Но откуда бы им быть-то?

Тунгусы на меня сердятся, смотреть не хотят.

И вдруг я вспомнил про октябрьские торжества. Сосчитал дни, стрельба пришлась на среду а в среду ажкурат седьмое ноября.

Спрашиваю переводчика:

— Федор,— говорю,— не сказывал ли разведчик, не висел ли над домами красный ситец на палках?

Федор отвечает:

— Сказывал!

Сам смотрит в сторону. Я засмеялся.

— Чудаки,— говорю,— да ведь это наш праздник, Октябрьская революция называется.

Рассказал им, что к чему. Тунгусы повеселели. Федор говорит:

— Пойду с тобой!

Я отпустил Афанасия, а с Федором пошел на Еконду. Дорога, конечно, открытая. Тунгусы не противятся, раз сам Чунго пропустил и даже савку дал.

Стал я понемногу советы родовые организовывать. Чунго поскорости умер.

...Инструктор Хрущ рассказал свою историю в спасный вечер. Прикомандированный к экспедиции в качестве знатока тунгусского быта, Хрущ был очень не похож на героя из северного романа. И все же он прошел цикл испытаний, более трудных, чем те испытания, через которые

проводили выдуманных своих героев Кэрвуд и Джек Лондон.

Мартиролог этих северных бедствий имеет вид тощей тетрадки со скромной надписью:

«Отчет о советизации Плимпейской тундры».

Занимаясь в свое время историей завоевания Сибири, Марк выписал следующие строки из до-  
несения искателя новых земель Семена Дежнева,  
совершившего два века тому назад безумно  
смелый поход к «Холодному морю».

«...Было нас на кесе двадцать пять человек,  
и пошли мы все в тору, сами пути себе не зна-  
ем, холодно и голодно, наги и босы, и шел я,  
бедный Семейка, с товарищами до Анадыра-реки  
ровно десять недель и попали мы на Анадыр-  
реку снизу, близко моря...»

Донесение Семейки Дежнева адресовано (в Мос-  
ковский Приказ. Отчет инструктора Хруща адре-  
сован в фпк. Тем удивительнее строчки, которые  
Марк выписал из отчета Хруща:

«...И пришлось мне ехать на реке Тумбенчи.  
Километрах в семидесяти от Туры неожиданно  
обломился лед и весь мой аргини оказался в воде  
и вода подо мною чепалась, не хватая льда, и  
шкатулка с бумагами плавала».

## ЮРАЧКА

### I

У ворот больницы Марк наткнул маленькую старуху, одетую не по-здешнему.

В кафтане керженского покроя, в суконной шаля и в тех особенных башмаках, какие на Волге называются «котоми», — старуха со спины ничем не отличалась от деревенской богомолки, тогда же она обернулась на звук шагов, Марк увидел, что лицо у нее остяцкое — желтое, скуластое, сморщенное.

— Паря, — озабоченно спросила старуха, — а суглан, однако, здесь собрался?

Марк растерянно поглядел на нее. Она поняла его недоумение и охотно объяснила:

— Ты, однако, меня знаешь? Я Евленья-охотница буду. Слышал обо мне какой говорка?

Марк не раз слышал рассказы о Евленье-охотнице, о необыкновенной удачливости ее ружья, о приверженности ее ко всему русскому и о смелом замужестве ее дочери, единственной остячки, которая вопреки вековому обычаю была отдана на стойбище низовских юраков. Так вот она какая — знаменитая Евленья!

Марк сказал, что суглан собрался во флителе

больницы, и она пошла по деревянному тротуарчику, проложенному вдоль решетчатой ограды. Евленья стала рассказывать о том, как она осталась после смерти мужа с годовалой девочкой и одна, без посторонней помощи, выкормила ее и поставила на ноги.

— Ружьем да горбом выкормила! — заключила свой рассказ Евленья, поблескивая маленькими, совсем не старческими глазками. Марк потядел на ее коричневые ручки и с уважением посторожился, пропуская старуху на крыльцо.

Суглан еще не начинался. В пустом больничном флигеле гудела железная печка. Старый остяк сидел на полу, протянув к огню длинные и костлявые ноги. Невысокая девушка с круглым, слегка скуластым лицом стояла у окна. Увидев Евленью, она подошла к ней. Евленья обняла ее за плечи и горделиво сообщила:

— Виучка моя! Ее Пельна зовут. Пельнакуль. по-вашему Настася. Вишь, какой красивый юрочка вырос! Совсем олень моя важенька!

Девушка улыбнулась, отчего на щеках ее проступили и мгновенно исчезли ямочки.

— Вы из экспедиции? — обратилась она к Марку. — А я к вам собиралась! У вас какие картины есть?

Марк сказал, что в передвижке киноэкспедиции имеется только короткометражный фильм «Учись стрелять» и еще — прошлогодняя хроника «Первомайский парад».

— Учись стрелять нам не надо, — сказала Пельна, — а вот первомайский парад хорошо бы показать суглану. Там, поди, Сталин есть?

Марк ответил, что в хронике засняты и Сталин, и Ворошилов, и Калинин.

— Вот хорошо! — обрадовалась девушка. — Я буду просить, чтобы вы показали парад.

Марк согласился похлопотать о сеансе. Потом он спросил, какие вопросы поставлены на суглан. Пельна сказала, что сначала будет отчет родового совета ниже-банхинского рода, затем выборы нового совета и, наконец, вопрос об организации питомника. Марк слушал рассеянно: диковатая красота Евленьиной внучки поразила его. Она мало была похожа на остячку: цвет кожи у нее был не желтый, как у остячек, а глубоко-матовый, с шафранным оттенком на висках и скулах.

Сначала Марк подумал, что девушке не больше шестнадцати лет, но, взглянув в ее пристальные и строгие глаза, он прибавил еще пять лет. Что-то неуловимое было в лице Пельны, — и Марк, стоя перед девушкой, старался понять тайну этой неуловимости. Она смотрела на него с любопытством и ожиданием. Глаза у нее были большие и совсем не остяцкие, раскосыми они казались от странного начертания бровей, которые круто подымались к шафранным вискам от самого широковатого переносья. Марк спросил, остячка ли она.

— Я всякая! — засмеялась Пельна и опять заговорила о суглане. Марк слушал плохо. Остячки отвлекали внимание: они входили группами, женщины отдельно от мужчин, с ними входил запах рыбы, сырой и необычайно пронзительный. Евленья заговорила между знакомцами, Пельна же деловито стала усаживать остячек.

Женщины подбирали платья и усаживались прямо на полу. Остячки разместились на ска-

мейках. Марк решил, что у байхинских людей главенствуют мужчины.

Пельна, как видно, занимала особое положение. Марк не знал, чем это объяснить, — тем ли, что Пельна юрочка, то есть человек другого рода, или тем, что она чисто говорила по-русски и рик, может быть, послал ее сюда в качестве организатора или в качестве жепработника. Марк не успел спросить об этом, потому что в комнату ввалился Фома Пеших. С ним пришел высоченный человек, в котором Марк узнал заведующего соболыным питомником, и еще какой-то паренек, сутулый и кривой, с растрепанной шалкой под локтем.

Суглан ждал этих людей: разговоры при их появлении стихли. Фома подошел к столу и накрыл его байковым одеялом. Марк подсел к Пельне и попросил, чтоб она переводила ему речи делегатов. Фома качнулся раза два и заговорил, — Пельна стала шептать Марку на ухо.

Фома начал с обозрения истекшего года. Условия сложились неблагоприятно для байхинских людей. Прошлым летом был неурожай орехов, и белка от бескормицы ушла на юг. Тунгусские люди пошли вслед за белкой на своих оленях. У остяков оленей нет, и они стали охотиться вокруг чумов. Добыча, конечно, была скудная. Даже Евленья-охотница, которая раньше добывала больше тысячи белок за зиму, — даже она пастреляла всего триста двадцать штук. О других промышленниках и говорить нечего. Люди нижне-байхинского рода не смогли оплатить кредитов, полученных от Интегралсоюза. Весной Интегралсоюз отказался выдать новые кредиты. Только по распоряжению рика кредиты были

выданы. Но пока родовой совет спорил с Интегралсоюзом, низовская сельдюшка успела пройти мимо байхийских песков, и люди остались без рыбы. Улов был такой, что женщины не смогли засушить на зиму ни одного пуда рыбы. Орех в нынешнее лето уродился сильный, и белка, наверное, не уйдет на юг. Но байхийским людям нельзя надеяться на большую добычу, потому что оленей у них нет. Байхийским людям надо взять пример с Интегралсоюза, который построил собольиный питомник близ города, и построить питомник в своих угодьях.

В этом месте речь Фомы была прервана общим шумом собрания. Мужчины, женщины вскакивали с мест и кричали сердито. Пельна кинулась к женщинам и стала что-то говорить, кладя руки на их спины, плечи, головы. Евленья подошла к столу и, вынув изо рта трубку, сказала по-русски:

— Кормленный зверь клочкастый живет.

Заведующий питомником встал рядом с Фомой и заговорил на том испорченном языке, на котором русские почему-то говорили здесь с тунгусами и остяками:

— Люди! Слушайте мое слово. О питомнике у нас после говорка будет. Сейчас у нас о другом говорка, о родовом совете говорка. Не мешайте Фоме, люди!

Остяки постепенно успокоились, но Пельна осталась с женщинами, и Марк не мог уже следить за ходом собрания. Уходить ему не хотелось, и он сидел на подоконнике и думал о Евленьиных словах.

Пельной назвала свою внучку Евленья и еще Настасеей. Потом она сказала: «Олень моя

важенка!» Кажется, это олениха-ветель... Вот ведь какая озорная старуха!..

...Пельна вернулась к Марку только после собрания, когда во флигеле начался кинематографический сеанс. Перед этим Пельне пришлось немало потрудиться. Под ее руководством мужчины вынесли из помещения скамейки, а женщины старательно вымыли пол. Потом она сходила в больницу и выпросила бязевую простыню. Помощник оператора Грошев, вызванный на суглан со своей передвижкой, недовольно буркнул, что бязь недостаточно светла для экрана, но другой простыни в больнице не оказалось, и заведующий питомником с помощью Фомы прикрепил полотнище в стене.

Во время сеанса Марк смотрел на зрителей. При синеватом свете проекционного аппарата их лица сразу потемнели, а скулы странно обострились. Нескладные, угловатые, они сидели будто камешные бабы.

Пельна вся вытянулась вперед. Она сидела боком к Марку, и он чувствовал, как напряжено ее тело. У нее даже рот раскрылся и в синеватой полумгле зубы снежно белели.

Было очень тихо. Сонливо стрекотал аппарат. И вдруг кто-то сказал или, точнее, не сказал, а вздохнул всей грудью: «Сталин!» В трепетном кружочке света сверкнуло прямое и сильное плечо мавзолея. Сталин стоял над гладким парашетом, слегка откинув голову. Его глаза, прищуренные и зоркие, смотрели прямо на зрителей.

Старик, сидевший у ног Марка, вскопчил и зашопотал что-то по-своему.

— О чем он говорит? — вполголоса спросил Марк.

Пельпа откинулась и глянула на Марка, будто неспроснувшимся взглядом. Потом она опомнилась и стала шептать.

Старик, оказывается, узнал Сталина. Сталин жил здесь, на Енисее. Старик ловил с ним рыбу. Он узнал Сталина по глазам, потому что глаза у Сталина быстрые. Они как молнии быстрые,— вот какие глаза.

Прошептав все это, Пельпа, обернулась к экрану. Марк понял, что ее нельзя тревожить расспросами. Он устал от пребывания в душной комнате, но Евлсньина внучка удерживала его здесь.

## II

Пельпа не захотела остаться на вторую картину, и они вместе вышли на улицу. Ночь была холодная,— поживаясь в своем ситцевом платье, Пельпа остановилась на крыльце.

— Звезд-то сколько! — проговорила она с простодушным, почти детским восхищением. — Эти семь звезд как у вас называются?

Марк сказал, что это созвездие Большой Медведицы.

— Большой Медведицы,— повторила юрочка, — а наши люди про нее так говорят: четыре звезды спереди — это лось с лосенком, за ними три охотника идут — русский, остяк и тунгус; у них спор вышел, кто скорее зверя доспеет. Русский шибко побег, да скоро устал. Видите крайнюю звезду с маленькой звездой сверху? Это Хвастун с котелком,— русский охотник; он плохой ходок, на горбу у него котелок, вот он и остановился у горы, а дальше идти — сила не

берет. Остяк с лопаткой его обогнал. Видите ту вон звезду, — сбоку у нее другая звездочка? Это Остяк с лопаткой. Лопатка-то котелка полетче, однако остяк только до полгоры достиг, а дальше идти — сила не берет. Третья звезда — Уда-лой тунгус, у него ничего нет, и он, видите, за горы перевалил и к лосям вплотную подошел.

Юрочка обернулась к Марку, глаза ее блеснули.

— Сердиться не надо, — засмеялась она: — Это только сказка такая. Русский, может, лучше всех охотник, — это, может, тунгус — Хвастун с котелком.

Марк и не думал сердиться.

— Сказка мне нравится, — признался он. — А вам вот, наверное, холодно. Хотите взять мой пиджак?

Юрочка отказалась от пиджака: она совсем не озябла, кроме того, до дому ей недалеко. Марк попросил разрешения проводить ее, юрочка сухо сказала: «Ну, что ж!» — и быстро сбежала с крыльца. Они пошли по деревянному тротуарчику, на котором было тесно вдвоем. Марк спросил: почему Евленья сказала, что кормленный зверь клочкастым живет?

— Вредная старуха, — проговорила юрочка и повернулась так резко, что толкнула Марка плечом. — Она что в воспитанье зверей понимает? Она лучше чьих мужиков промышляет, а звериного питомника вовсе не видала. Она про что говорит? Охотник, случается, доспеет соболя или лису какую, а детенышей в чум принесет. Ребята детенышей мнут, тискают, а кормят тем же, что сами едят. Зверь от этого плохой рас-

тет, а то и вовсе пропадает. В питомнике шуба у зверя в клочья не сваливается,— вы, наверно, видели, какие соболя бегают в питомнике Интегралсоюза?

Марк признался, что он видел питомник только издали. Ему очень понравился дом с деревянной башней, так удачно поставленный на солнечной елани,— лодки киноэкспедиции не раз проплывали мимо этого дома, но он все же не удосужился побывать внутри.

— Ай, как худо! — укоризненно сказала Пельна. — Люди издали приезжают, чтобы питомник посмотреть, а вы рядом живете, и вам все ништо...

— Нет, я непременно там побываю! — пообещал Марк. — Вот выберу день и схожу. А вы что — в питомнике... работаете?

— У меня там практика была, я ведь курсы звероводов кончила.

Стало быть. Пельна зверовод. Но где она училась, — в Новосибирске, в Красноярске?

Пельна отвечала скупко. Она никуда не ездила, — курсы состоялись здесь, на месте, ни в Новосибирске, ни в Красноярске она не была. Хочется ли ей съездить в большой, в настоящий город? Да, конечно, хочется, но только для этого у нее нет времени. Вот она кончила курсы, — теперь надо строить питомник. Интегралсоюз выдал Байхинскому совету порядочную сумму. Рик также помог деньгами. В Красноярске уже заказана проволока для вольеров. Питомник будет небольшой, однако строить его придется не меньше пяти месяцев. Дом при питомнике будет с башней, как в питомнике Интегралсоюза, — только башню поставят вовсе маленькую.

— Для чего же вам понадобился питомник? — спросил Марк, — То есть не вам, конечно, а родовому совету.

— А как же? — сказала Пельна (в голосе ее послышалось удивление). — Нам без питомника нельзя, без питомника мы вообще пропадем.

Марк слушал ее и думал о том, что если дом Пельны стоит на окраине, то и в этом случае идти придется не долго, потому что в городке насчитывалось всего семьдесят семь строений. Шесть улиц городка сходились все к огромной площади, — в этот звездный час она простиралась, как лесное озеро. Посреди площади темнели невyrубленные едры. В их высоко взнесенных вершинах шумел ветер. Вдали, невидимый за домами, тяжело плескался Енисей. Городок был погружен в дрему, и только в немногих окнах мерцали желтые огни.

Марк и Пельна свернули с тротуарчика, пересекли по диагонали площадь и вышли к старой избешке, на стене которой белела мемориальная доска. Марк уже знал, что доска повешена в честь Свердлова, который жил здесь во время ссылки. Пельна обернулась к спутнику и неожиданно сказала:

— Вот мы и дома.

— Вы в этой избе живете? — спросил Марк.

— Нет, — возразила Пельна. — Я на станции живу, у отца, он там наблюдателем работает.

— Наблюдателем? — удивился Марк. — А он что же, юрак?

— Нет, — сказала Пельна, — он русский, его Иван Павлыч зовут.

Марк заглянул в лицо Пельны. Пельна не смелась. Но что же тогда получается: бабка ее —

Евленья-охотница, сама она юрочка, а отец у нее — Иван Павлыч — русский..

Изда Свердлова осталась позади. Марк и Пельна свернули в переулок, — перед ними предстал невысокий, с затейливым крыльцом дом метеорологической станции. Все три окна его были освещены, — разграфленные желтые квадраты света падали на картофельную ботву, простираясь до решетчатой будки. Рядом с будкой белел столб с трескучим флюгерком.

— Сейчас мы чаю нальемся, — весело сказала Пельна, — мать гостей любит.

Марк стал говорить, что час уже поздний и идти ему в дом, пожалуй, неудобно..

— Наши не спят! — уверенно возразила Пельна. — У отца, видите, вон, грядок сколько, он морозов боится и спать до утра все равно не ляжет.

Марк только теперь рассмотрел грядки или, точнее, парнички, темневшие возле метеорологической будки. Они были покрыты застекленными рамами, тускло поблескивающими в желтоватом свете. У изгороди лежала солома. Иван Павлыч, как видно, не на шутку приготовился к морозам, — но нужно ли все-таки идти в дом?

Марк в нерешительности остановился. Пельна вдруг засмеялась и подтолкнула его так, что он чуть не растянулся на крыльце. Марк решил, что отказываться не следует. Наблюдатель метеорологической станции, в конце концов, был ему очень нужен: он может, например, поговорить с ним о погоде, — метеорологический прогноз оказался бы чрезвычайно полезным при составлении съемочного плана на ближайшую неделю.

Марк пошел вслед за юрочкой. Когда она рас-

пахнула дверь и Марк, жмурясь от света, шагнул в избу, его охватили такие теплые, такие домовитые запахи, что он сразу понял: о погоде разговаривать не придется. За столом, у кипящего самовара, сидели двое мужчин. У печки, за перегородкой, хлопотала маленькая толстенькая женщина. Увидев Марка, она выпрямилась и, освещенная красноватыми отблесками огня, застыла с ухватом в руках. Один из мужчин — тот, который был постарше, поднялся за столом и выпрямился во весь свой высокий рост. Пельня представила Марка. Высокий широколицый человек приветливо сказал: «Милости просим!» — и протянул Марку жилистую, худую руку.

Женщина кивнула маленькой головкой и тихо позторила:

— Милости просим!

— Это жена моя, Агния Федоровна, — сказал широколицый человек, — а это наш гость, Понуров Петр Иннокентьевич, инструктор Интегралсоюза.

### III

Широколицый человек, — Марк догадался, что это отец Пельны Иван Павлыч, — налил чаю, подвинул к гостю сковородку с рыбой и заговорил по-северному неторопливо:

— Вы, значит, из киноэкспедиции? Я слышал о вас. Только вы поздно приехали. Вам бы надо в июне приехать. В июне у нас навигация начинается, и погода в эту пору хорошая стоит. В тайге кое-где еще снежок лежит, а уж цветы все расцветают и трава на глазах поднимается. Весна у нас коротенькая, да зато дружная, — сегодня, скажем, лед пройдет, а послезавтра берега

все зеленые. Опять же в эту пору не так сильно комары мучают, мошки же и прочего гнуса вообще мало бывает. Мы июнь лучшим месяцем считаем, солнце в это время совсем с неба не сходит, ночи вообще короткие стоят, и они такие светлые бывают, что в газете самую мелкую печать прочитать можно.

Второе дело — тунгусы в эту пору из тайги выходят, за зиму у них наилучшая пушнина скопляется, и они с пушиной к городу откочевывают. Тут у нас вроде ярмарки начинается. Тунгусы до позднего вечера в лавках толкуются: сахар, соль, бисер покупают и разный припас. Иной охотник купит четыре рубахи и сразу их на себя наденет. Ворота у рубах он не застегнет, они на груди веером лежат, а он ходит по улице и гордится: смотрите, дескать, какой я добрый охотник, сразу сколько рубах справил.

Чумы свои охотники по-за городом ставят, у самой воды. Ночью в эту пору они не спят, все гуляют, хороводы водят, а это по-ихнему йёхорьё называется. Они тоже, как мы, за руки берутся и кружатся, и песни поют, — только песни у них вообще чудные. Они что видят, о том и поют. Ну, скажем так: «На небе полная луна, пёхорьё, йёхорьё, мы зажгли костры, йёхорьё, йёхорьё, мы пляшем у реки, йёхорьё, пёхорьё, мы добрые охотники, йёхорьё, йёхорьё...»

Таким манером они до зари поют. Утром поспят немного, а как лавки пооткрывают, они уж на ногах — и так до другой зари. Вот если бы вы в июне приехали, то все это своими глазами увидели, а может, и спяли бы йёхорьё на кинокартину.

Марк сказал, что экспедиция опоздала выехать

на Енисей и что теперь она, наверное, заплатится за это, потому что оставшегося времени явно нехватит для съемок на летней натуре.

— А зимой разве нельзя снимать? — неожиданно спросил Понуров.

Марк обернулся к нему и сразу поразился напряженному и, может быть, даже испуганному выражению его глаз, — больших, серых, сильно на выкате. Горбоносое лицо инструктора, залившееся румянцем, выражало смущение. Было видно, что он с трудом преодолел застенчивость, и Марк с особенной готовностью стал говорить ему о том, что картина, которую снимает экспедиция, рассчитана только на летнюю натуру.

— А я бы зимой снимал! — запальчиво сказал Понуров. — И снимал бы не здесь, а в Илимпейской тундре или на Хатанге.

— Ну, уж, Петр Иннокентьевич, у тебя вечно один разговор. — Отец Пельны усмехнулся и лукаво подмигнул Марку. — Петр Иннокентьевич самый у нас тундряной человек. Вот и сейчас он прямо из тундры появился. У них в Интегралсоюзе совещание инструкторов будет. А потом, конечно, они разъедутся по своим районам.

— Вы, значит, зиму в тундре проведете? — спросил Марк, обращаясь к Понурову.

— А как же? Обязательно в тундре.

— А не скучно вам в тундре?

— Мне скучать некогда, — хмуро сказал Понуров. Он сделался совсем пунцовым. Было видно, что он сердится на себя и все-таки ничего не может поделать со своей застенчивостью.

— А чем вы в тундре занимаетесь? — спросил Марк, стараясь не глядеть на собеседника.

Понуров принужденно кашлянул и торопливо проговорил:

— Торговые точки проверяю, отчетность принимаю, самоедов в интегралкооперацию организую.

— И что же, самоеды идут в кооперацию?

— Идут, ежели сумеешь их уговорить.

— А вы с ними на каком языке беседуете, на самоедском?

— Нет!

— Тогда на русском?

— Нет, и не на русском.

Марк с удивлением поглядел на собеседника. Понуров вдруг улыбнулся, напряженное выражение сошло с его лица, и оно сразу стало простым и естественным.

— Я сам не знаю, на каком языке мы с ними разговариваем. — Он смело взглянул прямо в глаза Марка. — Ну, вот судите сами. Приезжаю я на становище, — народ в самом большом чуме собирается. Сначала разговор обо всем идет, — мы чай пьем, новостями обмениваемся, потом открывается собрание, и я начинаю ораторствовать. Речь у меня, примерно, такая: «Тундра лани году два лавка был, — артель-лавка да общество-лавка. Артель-лавка товары продавал, общество-лавка товары продавал. — будто одну работу делал, одну дорогу гонял. Теперь город, — место артель — да — лавка люди собрались. общество — да — лавка люди собрались, — такой говорка делали: зачем два лавка держим, будем одна лавка держать, да тут людям дорожно будет. Стал народ два лавка парить, лавка да сильная вышла. Такая лавка Интегралсоюз называется, и вам такую лавку держать надо, тогда всем пособно станет».

Понуров опять улыбнулся, блеснул зубами и с веселым лукавством спросил:

— Вы что-нибудь поняли?

Марк сказал, что понял почти все.

— Ну вот, и самоеды тоже понимают! Они такую речь выслушивают, я доводы свои несколько раз повторяю, и собрание начинает кричать: «Такаряба-няга!» — и это, по-нашему, значит: «Совершенно правильно!» Тогда я им предлагаю в Интегралсоюз записываться.

— И они записываются? — спросил Марк.

— Ну, это когда как... Один раз был у меня случай: и «такаряба-няга» самоеды закричали и по плечу похлопали, а как стал их к записи приглашать — никто записываться не пожелал. Я маялся, маялся, — ничего не выходит. Пришлось собрание распустить. Понятно, я в эту ночь глаз не сомкнул, — все думал, какая тут причина есть. Под утро выбрался на волю. Ко мне самоед один подошел — совсем молодой парень. Отозвал меня в сторону, спрашивает — понятно ли мне, почему люди в Интеграл-лавку не записываются. Я говорю: «Нет, непонятно». Он тогда объясняет: они потому не записываются, что им шаман Дюфанде не велел. Я сразу успокоился, сообразил, как действовать надо. Пошел в чум, выспался, а потом народ собирать начал. Когда люди собрались, я спрашиваю: «Все ли пришли?» Мне отвечают: «Пришли все». Я спрашиваю: «А старик Дюфанде здесь?» Получаю ответ: «Старик у себя в чуме остался». Я велел его позвать. Приходит старик, — вид у него невзрачный, росточком он — как мальчик, а глаза красные, должно быть, в драхеме. Я его усадил и опять про Интеграл-лавку стал объяснять.

Объяснял-объяснял,— самоеды опять «такаряб-няга» кричат, и шаман Дюфанде тоже «такарябу» бормочет. Я тогда к нему обращаюсь, что, вот, дескать, ты, Дюфанде, самый почтенный старик и тебе надо первому в Интеграл-лавку записаться.

Он говорит: «Нет, лавка-начальник (это меня они так называли), нет, записываться я не буду, потому что это грех большой, от этого народу беда и порча будет».

Я спрашиваю: «Откуда ты это взял?» Он отвечает: «Я шаманил вчера, и мне открылось, что от записи будет беда и порча».

Ну, тут делать нечего. Я собрание распустил и пошел к Дюфанде. Прихожу к нему: так и так, говорю, ты, наверно, плохо шаманил, как бы тебе самому не было беды и порчи.

Он, видимо, испугался: «Ладно,— говорит,— лавка-начальник, буду опять шаманиль».

И, верно, ночью слышно было, как он выл у себя в чуме. А утром народ опять собрался, и Дюфанде объявил, что, вот, дескать, я упрямил духов, и теперь вам можно записаться в лавку, и от этого не будет вам ни беды, ни порчи.

Понуров смолк. В наступившей тишине слышнее стал тонюсенький писк самовара и пронзительный шопот Пельны. Пельна, сидя за кухонным столом, ела рыбу и, насколько можно было догадаться по ее воспаленному лицу и сердитым жестам, шопотом спорила с матерью.

Марк завистливо вздохнул и тихо сказал:

— Интересно вы живете. У вас, наверное, столько приключений в тундре?

— В тундре-то какие приключения? — спокойно возразил Понуров. — Раз, правда, случи-

лось, что у меня балок упал, но, к счастью, все обошлось добром.

— А что это такое — балок? — спросил Марк.

— Балок — это повозка такая, — объяснил Понуров. — Внизу обыкновенная нарта, а на ней ящик поставлен, вроде каюты. В каюте для тепла железная печка имеется, труба, конечно, вверх выведена. Едешь в таком балке и нужды не знаешь. Понятно, тут своя строгость нужна. У меня вот один раз балок завалился, а печка, как на грех, тошилась, и поленья рассыпались, и мне выбраться нельзя, потому что балок на ту стенку упал, в которой дверь была прорезана. Тут бы мне пропадать пришлось, да на счастье самоед подоспел, который со мной ехал. Он балок поднял и меня на волю выпустил. После того я и на другой стенке дверь прорезал. Вот и все мое приключение.

— А ты про медведя расскажи! — попросил отец Пельны, сдержанно улыбаясь.

Понуров хотел что-то сказать, но в это время за кухонным столом поднялась Пельна, — Понуров поперхнулся и густо покраснел.

Пельна подошла к порогу, сняла с вешалки жакетку. Перехватив вопросительный взгляд отца, она коротко объяснила, что идет на суглан.

— Мне пора! — сказал Понуров и торопливо стал прощаться.

Марк тоже засуетился, но отец Пельны дотронулся до его плеча и кротко попросил:

— Вы-то уж, пожалуйста, не уходите, сделайте уважение старикам.

Марк опустил на стул. Ему показалось, что глаза юрочки насмешливо блеснули. Он с приторным равнодушием отвернулся. В конце кон-

цов какое ему дело, он ведь им не брат, не сват. И все-таки было неприятно: скрип двери уколол ему сердце, и он потерянно прислушивался к тому, как гремят на крыльчке быстрые шаги Пельны. Что ж, наверное, Понуров заслужил свое счастье, пусть же они целуются там, под звездами,— ему-то Пельна не расскажет сказки о Хвастуне с котелком. «Хвастун с котелком!» Вот ведь какая занозистая девчонка!

И Марк подавил невольный вздох.

#### IV

— Я вот о чем хочу вас спросить,— начал Иван Павлыч, придвигаясь со стулом к Марку,— тут один человек сказывал, будто в Москве, на Воздвиженке, новый дом поставлен и в доме этом,— правда или нет,—девять этажей уместится?

Марк с трудом скрыл удивление. Да, в Москве, на Воздвиженке, действительно, построен новый дом, а сколько в нем этажей—это ему, Марку, точно не известно.

— Как же это вы? — укоризненно сказал Иван Павлыч.

Марк осторожно заметил, что в Москве есть вещи более достойные внимания, нежели девятиэтажный дом.

— Это всё так,— охотно согласился Иван Павлыч,— но я в Москве не бывал и судить о ней не могу. А, наверно, шумно у вас в Москве? Я вот в прошлом году целое лето в Новосибирске прожил. Новосибирск, сказывают, раз в десять меньше Москвы, однако суеты и там довольно. Мне довелось в Закаменке жить,— это

район так называется. Он за оврагом находится, а с центром соединен мостом. Район загородный, однако и там от шума и гама деваться некуда. А тут еще хулиганы ходят. Я, ежели мне случилось в центре бывать,— у знакомых, например, в гостях,— старался как можно скорее на квартиру вернуться.

Знакомые, конечно, удерживают, а я не соглашаюсь и на то указываю, что уже смеркаться стало.

Знакомые смеются:

— Как,— говорят,— вам не стыдно темноты бояться, вы ведь не в лесу, а в городе.

Я оспоряю.

— То-то,— говорю,— и худо, что не в лесу. В лесу мне никто, кроме медведя, не встретится. А тут наткнешься на злого человека и упадешь ни за понюх табаку. Зверь, ежели он не вовсе голодный, на меня ни за что не кинется, а вот лихого человека и сытостью не уймешь.

Знакомые удивляются. Они того не понимают, что таежному человеку лиходеи страшнее зверя. А зверя мы хорошо знаем. Вот Петра Иннокентьевича, к примеру, взять: он медведя за штаны хватал, а, как видите,—ничего, жив-здоров остался.

Иван Павлыч улыбнулся всеми морщинами угловатого лица и ближе придвинулся к Марку.

— Вы, я вижу, мне не верите. А я правду истинную сказал. Это ведь как было? Петр Иннокентьевич купался в речке с тунгусами. Вдруг откуда ни возьмись — медведь. Тунгусы на медведя с пальмой<sup>1</sup> ходят, но тут они испугались

---

<sup>1</sup> П а л ь м а — рогатина.

и бросились врассыпную. Что же будешь делать? Ружьишки-то у них на одежде лежали, и они, охотники то есть, голые были, а зверь — как снег на голову свалился. Петр Иннокентьич отня не растерялся: он камень схватил и прямо на зверя пошел. Медведь струсил, попытился, а Петр Иннокентьич смело на него прет. Тут зверишка вилит — дело плохо, пустился наутек. Петр Иннокентьич кинул вдогонку камень и погнался за зверем. Берег в этом месте крутой был: зверишка оборвался раза два, и Петр Иннокентьич его доспел и за оброслость задних ног, — но-охотничьи сказать, за штаны, — схватил. Медведь взревел не своим голосом. Петр Иннокентьич держит его и тоже ревет. Тут люди опомнились, набежали с ружьишками, прикончили зверя. После, конечно, Петра Иннокентьича на весь Енисей просмеяли! Он и теперь кривится, когда ему про это поминают. Вот и давеча тоже, — вы заметили, как он сразу скорчился, когда я про медведя вспомнил.

— Храбрый он человек! — сказал Марк и сокрушенно подумал, что ему до Понурова далеко. Где они сейчас — Понуров и Пельна?

— Да, Понуров мужик храбрый, — сказал Иван Павлыч. — Он прошлым летом один на рыбацкой лодке по Тунгуске спустился. Там порогов немало, берега совершенно безлюдные, а ему, чертяке, все чиншто. Плыл три недели и прибыл в полном здравье, только от солнца как негр черный сделался.

Толстая жена Ивана Павлыча потопила к столу и начала собирать посуду. Теперь Марк смог рассмотреть ее вблизи: ничего остяцкого не было в круглом ее лице с маленьким прямым носом и

блеклыми голубыми глазками. Обыкновенная спирская баба,— а Пельна совершенно на нее не похожа.

— Извините, Иван Павлыч,— нерешительно сказал Марк,— но я бы очень хотел знать, как это все получается: вы с Агнией Федоровной русские, бабушка у Пельны,— я хотел сказать у Анастасии Ивановны,— остячка. сама же Анастасия Ивановна считается юрачкой?

— Это все очень просто,— кротко улыбнулся Иван Павлыч. — Первым делом — Настя у нас приемная. Евленья-охотница ее бабка,— это верно. Юрачкой Настя считается потому, что мать ее была замужем за юраком и ее принесли к юрацкому роду. Юрак, за которого Евленья выдала дочь, умер за год до рождения Насти. Стало быть, Настя вовсе не юрачка. Она, ежели по совести сказать,— полукровка, отцом ее был покойный Никифор Алексеич Бегичев. О Бегичеве-то вы, конечно, наслышаны?

— Нет, я впервые о нем слышу,— сказал Марк.

— Да может ли это быть? — вытаращил глаза Иван Павлыч. — Да на Енисее Бегичева любой малец знает! О нем же еще Фритьоф Хансен писал в своей книге о путешествии в Сибирь. Вы читали эту книгу? Я запомнил, как она называется... Кажется, «В страну будущего»... Хансен о Никифоре Алексеиче в этой книге целых две страницы написал. Никифор Алексеич к Хансену на судно «Коррект» пришел, когда это судно в Дудинке остановилось. Только у них неввязка вышла. Хансен по-русски не мог разговаривать. Бегичев по-норвежски не понимал. Пришлось им через переводчика объясняться, а переводчик, как видно, все перепутал.

Это я к тому говорю, что Нансен на Никифора Алексеича напраслину возвел. Он великой души был человек — Фритъоф-то Нансен, и ему, стало быть, неправильно дело объяснили, ежели он решился Бегичева обидеть. Бегичев ему сказал, что им, Бегичевым, остров открыт и что остров этот находится в Хатангском заливе, примерно на семьдесят пятом градусе северной широты. Нансен Никифору Алексеичу не поверил. По его, Нансена, расчету в этом месте как раз «Фрам» проходил и с «Фрама» никакого острова не заметили. «Значит,— он подумал,— в этом месте острова быть не может». И он так и написал в своей книге, что, дескать, приврал маленько русский путешественник. А Никифор Алексеич и не думал врать. Он и в самом деле остров открыл. Теперь этот остров на всех картах обозначен. Да вы, наверное, и сами видели на картах остров Бегичева?

Марк признался, что он впервые слышит об этом острове, а потом спросил, кем был по профессии Бегичев.

— Он боцман был,— ответил Иван Павлыч и укоризненно глянул на Марка,— он с Толлем плавал на судне «Заря», а после в Тихоокеанской эскадре служил. Кем он был в эскадре, я точно не знаю. Мне известно только, что он к нам из Порт-Артура приехал. Было это после русско-японской войны,— стало быть, в девятьсот шестом или седьмом году.

Надо вам сказать,— Никифор Алексеич в здешних местах случайно появился. Он приехал друга своего проведать, а друг-то этот, Толстов по фамилии, в экспедицию геолога Толмачева нанялся. Бегичев-то думал на Енисее только

одно лето пробыть, а пробыл до самой смерти. Это надо вам сказать, не первый случай. Я немало примеров знаю, когда люди только глянут на здешние места и до смертного часа к Енисею прилепляются.

Вот и Бегичев также: он по свету немало поездил, а лучше Енисея ничего не нашел. Ему больше всего тундра полюбилась, он на Хатанге поселился, с тамошними юраками. У Евленьиной дочери в ту пору муж помер от оспы, сама она тоже большая осталась, и Бегичев ее выходил, можно сказать, от смерти спас.

Только они вместе-то недолго прожили. Она через год родами умерла, Настя от нее грудной осталась, и ее тогда забрала бабушка Евленья, а Бегичев Никифор Алексееч ушел на Ледовитый океан. Это вот как случилось: один юрак сказал Бегичеву, что он между устьями Хатанги и Анабары видел какой-то остров, и Бегичев тогда стал расспрашивать народ, и юраки подтвердили, что верно, — многие видели с берега этот остров, но только никто на нем не бывал, потому что там шайтаны живут.

Никифор Алексееч на такие слова только посмеялся и решил обязательно на острове побывать. Он дождался весны и съездил в Красноярск за снаряжением, а зимой девятьсот восьмого года отправился на остров. С ним пошел один дудинский охотник, Семенов по фамилии, и еще долганин Дюмид.

Между Анабарой и Хатангой расстояние не малое, и они порядком намаялись, пока до острова дошли. Остров оказался верстах в двадцати от материка. Бегичев его в бинокль усмотрел, и они

на шестнадцать оленях с большим трудом по льду переправились.

На острове до Бегичева ни один человек не бывал, зверья там развелось много, однако Бегичеву первым делом пришлось жильем заняться. Они из плавника избу собрали, а после того стали зверя промыслять. За короткое время они и моржей довольно упромыслили, и медведей, и диких оленей, а песцов набили штук по триста на ружье. Осенью они еще мамонтовой кости нашли поболее полсотни шудов, так что добыча собралась славная. Беспокойства у них много было, однако все обошлось добром, и в ноябре, когда пролив льдом забило, они благополучно вернулись на материк.

С этого года Никифор Алексеич каждое лето стал наведываться на остров. Уезжал он туда весной, пока еще льды не развело, а возвращался к зиме. Он, может, и вовсе бы на материк не выходил, да ведь пушнину надо было куда-нибудь девать. И опять же для промысла снаряжение требуется,— и он за этим делом наезжал в Дудинку. Вам в Дудинке не случалось бывать?

Марк не слышал вопроса. Он думал о Пельне: значит, она и не юрочка вовсе? Ну, что же, он все-таки будет звать ее юрочкой.. И как еще называла ее Евленья? Ах, да: олень... Олень моя, важенка...

Ивану Павлычу пришлось повторить вопрос. Нет, Марк не бывал в Дудинке.

— Дудинка хотя и считается селом,— сказал Иван Павлыч,— а пожалуй, не меньше нашего города будет. Мы с женой там три с половиной года прожили. Бегичев, когда в Дудинке появ-

лялся, то у нас непременно гостевал. Один раз, помню,— в девятьсот пятнадцатом году это было,— приходит ко мне Бегичев, из себя такой сумный, просто не узнать его. Я ничего не спрашиваю, потому что знаю: время придет и Бегичев сам все скажет.

И верно,— посидели мы за столом, угостились строганиной, и Бегичев говорит: «Так и так, Иван Павлыч, уйду я в трудную экспедицию и не знаю, когда вернусь,— и есть у меня к вам большая просьба, и вы, пожалуйста, мне не откажите».

Я, конечно, спрашиваю, в чем заключается просьба.

— А просьба в том заключается,— говорит Бегичев,— что дочку мне надо куда-нибудь пристроить. Вы,— говорит,— наверно, знаете, Настенька моя с первых дней у Евленьи-охотницы живет. Я про Евленью худо не скажу, но ведь Настеньке седьмой годок пошел, ей пора и в школу поступать, а на Евленьином становище школы никогда не бывало. Опять же Евленья стареть начала, и мало ли что с ней случиться может. Одним словом, прошу я тебя, Иван Павлыч, и жену твою Агнию Федоровну прошу,— возьмите вы Настеньку к себе, а я средства на ее воспитание предоставлю полностью.

Я подумал малость и говорю:

— Мы с Агнией Федоровной люди бездетные, находимся с нею при деле, хоть достатки у нас не большие, но средства на воспитание ребенка найдутся, так что девочку твою мы возьмем с полным удовольствием.

Бегичев этому обрадовался. Он мне руку пожал, поклонился Агнии Федоровне и тут же

поехал за Настенькой. Пока он ездил, моя Агния Федоровна вовсе истужилась. У нее такое сомнение было, что девочка к ней не привыкнет, что на детей у нее споровки нет,— и хорошо ли, одним словом, мы это удумали. Я ее успокаивал, как мог, но она мне веры не давала.

Так до той поры было, пока Бегичев девочку не привез. Настенька тогда совсем маленькой была, но по виду крепенькая и взором на Никифора Алексеича похожа. Агния Федоровна, как увидела девочку, так сразу к ней кинулась. Настенька сначала дичилась, а потом ничего — с охотой к ней пошла. Бегичев опять жене стал кланяться и просит ее Настеньке заместо матери быть. А жена ничего не слышит. Она девочку тормозит, она ее раздевает, — Бегичев смотрит на них и налюбоваться не может.

После того он пожил с нами дня три и отправился на мыс Вильда. На мысе Вильда у него вот какое дело было. В тот год у архипелага Норденшельда зимовали корабли экспедиции гидрографа Вилькицкого «Таймыр» и «Вайгач». К западу от Вилькицкого стоял корабль Свердрупа «Эклипс». «Эклипс» был послан на помощь экспедиции, но Свердруп не смог пробиться к Вилькицкому. Тогда он прошел к «Таймыру» и «Вайгачу» сухим путем. Вилькицкий списал со своих кораблей трех офицеров и тридцать шесть человек команды, — эти люди отправились со Свердрупом на «Эклипс». Дальше их надо было доставить тундрой на станок Гольчиху, а здесь их должен был забрать шароход.

Никифор Алексеич взялся доставить списанную с кораблей команду до пароходной пристани. Ему это дело поручило Гидрографическое управ-

ление, и он с поручением отлично справился. Он пригнал на мыс Вильда чуть ли не шестьсот оленей и вывез людей на Гольчиху.

Когда Вилькицкому сообщили об этом по радио, он не поверил. Он считал, что на мыс Вильда нельзя привести такое стадо. Однако Никифор Алексееч и до мыса Вильда дошел и обратно вернулся — и ни одного оленя не потерял. Этих оленей Бегичев в Гольчихе продал — казне хорошие деньги выручил. Экспедиция казне во все недорого обошлась, Бегичев здешние порядки знал, и к тому же здешние люди его уважали и уж лишнего с него не запрашивали. Однако казне того было мало, что Бегичев хорошую экономию дал, — из Петербурга ему сделали запрос, почему-де он нарты, на которых людей вывозил, не доставил в Дудинку, а роздал посторонним людям в Гольчихе.

Я помню, — Никифор Алексееч тогда страшно рассердился. В Петербург он ответил, что надо дескать, быть дураком, чтобы нарты в лесную сторону из тундры везти, и что нарты эти он поделал сам своими руками, а казне они не стоили ни копейки.

Я тогда отговаривал Никифора Алексееча, а он все-таки послал телеграмму. Ну, конечно, это ему повредило, начальство на него обиделось, и при расчете за экспедицию он получил такую сумму, что едва издержки свои оправдал. А за труд никто его и не подумал наградить. И за то, что он остров открыл, и с Толлем на судне «Заря» плавал, и в поисках Толля участвовал — за все это никакой ему награды от царя не было. Один только раз довелось получить ему награду, да и то от норвежского правительства. И тут

надо так сказать: лучше бы ему награды этой вовсе не получать.

— Но почему же его наградило норвежское правительство? — спросил Марк, загораясь внезапным любопытством.

— А это история длинная, — улыбнулся Иван Павлыч. — Пожалуйте к нам завтра вечером, посидим, чайку выпьем, и я вам подробно все об-скажу.

Вынув из кармана часы, Иван Павлыч глянул на циферблат и сокрушенно добавил:

— Время-то как незаметно прошло, — первый час, пора мне на огород отправляться. Видали вы, какие у меня грядки? Теперь бы только от морозов уйти, — толк от трудов моих будет. Значит, ждем вас завтра..

## V

Утром, по сложившейся привычке, Марк вышел на берег.

По реке тяжело катились волны, на их серых гребнях вскипала пена. Ветер пережрутил листву кустарников, остров был серый и весь какой-то шершавый, вода набегала на желтый песок и тут же с отвращением отспрядывала.

— Осень! — прошептал Марк и подумал о том, что экспедиция ничего теперь не успеет снять. Дни становятся все короче, скоро польют дожди, а там начнутся сборы к отъезду. Надо было, конечно, приехать в июле.

«Такаряба-няга, как говорят самоеды! Вон там, у чумов, суетятся остяки. Они и понятия не имеют о том, что существует на свете такая беда, которая именуется сценарием! Нет, с этим

надо кончить! Вот останусь в этом городе и буду работать с Пельшой в собюктивном питомнике. Или поступлю в Интегралсоюз и буду вовлекать самоёдов в охотничью кооперацию. Неужели самоёды не скажут мне: «Тамаряба-нята!»

Пожалуй, что скажут. Инструктор Интегралсоюза должен знать и пчеловодство, и пушную промысел, и кооперативное законодательство. Я ничего не знаю. И Пельша не возьмет меня в помощники. В пшцы я только похжусь, в пшцы шарсуда... Тамаряба-нята? Нет, совсем не тамаряба...»

## VI

Маленькая толстененькая жена Ивана Павлыча встретила Марка по-вчерашнему приветливо.

— Милости просим! — сказала она, живая турушкой головкой. — Пожалуйте в горницу! Иван Павлыч сейчас придет.

Марк прошел в дом. Хозяйка замечкалась в есицах. Марк постеснялся спросить о Пельше, в горнице ее не было. «Должно быть, на сугмане задержалась», — подумал он и на свободе стал сматривать иллице новых своих знакомцев.

На улице уже смеркалось, но в комнате, на выцветших фотографиях, висевших в простенке, можно еще было распознать Ивана Павлыча и его жену. Под ними висела групповая фотография с надписью «Первые курсы звероводов Интегралсоюза». Пельша сидела в центре группы, напряженная, сердитая и мало на себя похожая: фотография не могла передать ни шафразного цвета ее лица, ни яркого блеска глаз, ни милой припухлости рта. «Малом бы написать ее портрет», — с сожалением подумал Марк и перенес

внимание на якутский ковер, который, по здешней моде, висел над кроватью.

Это был очень красивый ковер из черных и белых шкур, сшитых квадратами в шахматном порядке. Широкая кровать, прикрытая белым, с черными кистями, одеялом, производила пышное впечатление. Все остальные вещи в комнате были самые обыкновенные.

В простенке стоял обязательный для уездно-российских домов комод с круглым зеркалом, бумажными веерами и цветными коробочками. Напротив громоздился аляповатый буфет со стеклянными створками, за которыми виднелись вазочки и дешевые фигурки из раскрашенной глины. В переднем углу на полочке для икон темнела стопка книг. Коричневые венские стулья в симметричном порядке были расставлены вокруг стола.

Марк перевидал, наверное, тысячу домов, обставленных в таком роде. И когда он взглядел похвальный лист в золоченой раме и над похвальным листом — шузатенькие часы с продолговатыми гирьками на медных цепочках и простодушными розочками на циферблате, — на него пахнуло таким старым, таким обжитым уютом, что он невольно улыбнулся.

— Замешкалась я, милый человек, не знаю, как вас по имени-отчеству, — сказала хозяйка, торопливо входя в комнату. — Вы уж меня извиняйте, все хозяйство, все суетня, — вот морошку на зиму ставила: Иван Павлыч куда как любит зимой-то морошкой побаловаться. Ну, присаживайтесь к столу, милости просим.

Толстуха смахнула со скатерти воображаемые крошки.

Марк, преодолев неловкость, спросил о Пельне, то есть не о Пельне, конечно, а о Настеньке, потому что здесь юрачку звали Настенькой. Толстуха, шумно переводя силовое дыхание, усе-лась против Марка и с явным неудовольствием сообщила, что Настенька как ушла вчера, так до сего часу и не появлялась.

— Должно, на суглане пропадает, — с тяжелым вздохом объяснила она. — И втемяшилось же девочке в голову — питомник для зверей устраивать!

— Что же, Агния Федоровна, — рассудительно сказал Марк, — питомник — дело хорошее.

Круглое и доброе лицо толстухи потемнело от огорчения.

— Может, и хорошее, — проговорила она, — да девичьего ли это ума дело? Ежели бы она в контору поступила или в больницу, скажем, так я бы и слова не молвила. А тут, па-кось, этакое дело! Да с этим делом доброму мужику дай бог разобраться, а она как-никак девка, ветер еще в голове ходит.

Толстуха помолчала, вздохнула еще раз и со-крушенно добавила:

— Такое уж поперешное чадушко: упряйство-то у нее от батюшки, от Бегичева, Никифора Алексеича, — не тем будь покойник помянут. Ну вот, окажите: что еще девке надо? Сватается к ней Петр Ишнокентьич, — человек смиренный, непьющий, зарабатывает подходяще, — а она и слышать о нем не хочет.

— Не хочет? — внезапно обрадовался Марк.

— Не хочет! — подтвердила толстуха. — Ну, скажи, прямо на слух не берет. Поговорили бы вы с ней, милый человек: так, мол, и так,

зачем ты, неразумная, от счастья своего отказываешься?

— Как же я с ней поговорю? — удивился Марк. — Об этом разве можно говорить?

— Можно, очень даже можно! — уверенно сказала Толстуха. — Вы человек столичный, с образованием, она вас беспрекословно послушает.

— Я, право, не знаю, — человек рассеялся Марк. — Это неудобно даже...

На крыльце послышались шаги. Толстуха жалобно заглянула Марку в глаза и торопливо зашептала:

— Нет уж, вы поговорите. окажите такое добро, милый человек...

Марк не успел возразить: в комнату вошел Иван Павлыч.

— Доброго здоровья, — сказал он, улыбаясь Марку. — Вот и спасибо, что уважили стариков. Я с радиостанции шел и всю дорогу думал: наверное, не придет наш гость, что ему с нами, с медведями, компанию водить! А вы, как видно, не гордый и за то еще раз скажу вам спасибо.

Иван Павлыч снял брезентовый плащ, повесил его на гвоздь и шапнул к Марку.

— Ну, вот и славно! Посидим, побеседуем, чайку попьем. Федоровна, принеси-ка лампу да насчет самовара похлопочи.

Толстуха поднялась и ушла. Иван Павлыч подсел к Марку. В сумерках угловатое его лицо смягчилось, в глазах светилась такая спокойная доброта, что Марк сразу почувствовал: этому человеку можно верить во всем.

Толстуха принесла лампу и опять ушла. За окнами сразу стало темно. желтый круг света

отделил собеседников от всего мира. Марк напомнил про Бегичева.

— Вы, значит, боцманом-то заинтересовались? — спросил Иван Павлыч.

Марк сказал, что он не мог не заинтересоваться Бегичевым, потому что этот человек представляется ему землепроходцем двадцатого века. Иван Павлыч не знал, что такое землепроходец. Марк объяснил, а в заключение сказал, что Бегичев удивителен именно тем, что он умудрился быть землепроходцем в наше время.

— Да, это правильно, — сказал Иван Павлыч, — покойный боцман был человек удивительный. Вот вы просите рассказать о нем, а я не знаю, с чего и начать, потому что о Никифоре Алексеевиче можно без конца рассказывать.

— Расскажите о норвежской награде, — напомнил Марк.

— О норвежской награде? — повторил Иван Павлыч. — Нет, это история непростая, и я спервоначалу кое-что вам объясню.

Иван Павлыч уставился на желтый язычок пламени, трепещущий в ламповом стекле. Лицо его сразу посуровело, морщины отчетливей проступили на шишковатом лбу.

— Тут что надо объяснить? — заговорил Иван Павлыч, доверительно наклоняясь к собеседнику. — Тут первым делом надо то объяснить, что Никифор Алексеевич женился неудачно. Ему уж сильно за сорок было, а взял он бабенку без малого вдвое себя моложе. Он с ней не то в Енисейске познакомился, не то в Казачинском, — точно я не могу сказать, потому что к этому времени мы с женой из Дутинки переехали. Бегичиху я только два раза видел, — она жеманна

рослая была, подстать Никифору Алексеичу, и в теле полная, а лицом бела. Бегичеву-то лет пятнадцать бы скинуть, тогда бы все ладно было, а так по видимости она ему в дочери годилась.

Никифор Алексеич с жепитьбой, понятно, переменялся. Первым делом,— он к дому больше приверженный стал. Второе дело,— щедрости в нем заметно, против прежнего, поубавилось. Прежде было так, что деньги у него и не держались вовсе: он, когда пушнину продаст, только и оставит себе денег на покушку припаса, а остальное все раздаст своим долганским да юрацким дружочкам. С жепитьбой, конечно, пришлось ему и о хозяйстве подумать, и о женных нарядах, а она в Дудинке не из последних модниц была. И на промысел от молодой-то жены он стал реже уезжать, так что пушнинной пришлось ему дорожиться. Я об этом, понятно, пенастышке знал, потому что с переездом моим из Дудинки мы с Никифором Алексеичем вовсе редко стали видеться. К Настеньке Бегичев, само собой, тоже переменялся. Иной раз с оказией пришлет письмо, спросит, как Настенька жива-здорова, и мы в кратких словах ответ даем.

Теперь про норвежскую награду вам объясню. Это ведь дело так было. В тысяча девятьсот восемнадцатом году Амундсен шлавал вдоль берегов Сибири на корабле «Мэд». Не знаю, какая у него цель была,—кажется, он хотел дойти до Берингова пролива,—однако около мыса Челюскина корабль остановился во льдах. На другой год Амундсен опять не достиг пролива, и тут перед новой зимовкой он решил послать на Диксон двух матросов, чтобы они отсюда донесения в Норвегию отправили. От стоянки корабля до

острова Диксон матросам надо было километров девятьсот пройти. Амундсен их богато снабдил, он им и продовольствия дородно отпустил и собач с нартой дал, и когда они отправились в путь, то оставшиеся на корабле им даже позаивдовали.

Амундсену в этот год удалось продвинуться до устья Колымы. На третье лето, то есть уже в девятьсот двадцатом году, он, наконец, пробился к Берингову проливу. Еще раньше того он связался по радио с Норвегией и запросил, получены ли там донесения, которые через радиостанцию Диксона должны были передать посланные в прошлом году матросы. Тут-то выяснилось, что матросы на Диксоне не появлялись. Тогда стали матросов искать.

В двадцать первом году приехали из Норвегии два человека, в помощь им Комитет Севера снарядил Бегичева. С боцманом дружок его пошел — Кузнецов Егор и еще несколько самоедов. Кузнецов, между прочим, до сих пор жив, он сейчас в Гольчихе находится, в прошлом году я с ним встречался, и он мне про все эти поиски рассказывал.

Человека в тундре так же, скажем, легко сыскать, как иголку в стоге сена. Бегичеву с Кузнецовым и присланным норвежцам пришлось тогда горя хлебнуть: они вещь все стежки обшарили между стоянкой корабля, откуда матросы вышли, и островом Диксон. В пути всех своих оленей приели и ноги до крови стерли, а нашли всего только махонький гурий.

Вы не знаете, что это за гурий такой бывает? Ну, я вам так скажу: когда человек о себе весть хочет дать, он на-видном месте складывает пира-

мидку из камней, по морскому положению — гурий. Внутри пирамидки заделывается банка жестяная, а в банке оставляется записка. Вот Бегичев и нашел такой гурий, внутри, конечно, записка была. Норвежцы ее прочитали, и Никифор Алексееч узнал, что матросы мимо этого места проходили и путь их был благополучный. Куда они от гурья пошли, — из записки вычитать было нельзя.

Бегичев посоветовался с норвежцами, и они решили тут разделиться: норвежцы с самоедами прямым путем на Диксон направились, а Никифор Алексееч с Кузнецовым берегом пошли. Продовольствия у Бегичева вовсе не осталось, и они с Кузнецовым кормились охотой, а путь их длиннее, чем у норвежцев, был. Осенью, когда надо было им домой идти, они наткнулись на такое место, в котором банки из-под консервов валялись. Поодаль от этого места Бегичев остатки костра нашел. В золе головешки лежали и обугленные кости. Похоже было на то, что один из матросов умер, а другой съел его труп и пошел дальше.

Бегичев и Кузнецов сильно тогда удивились. Они так подумали, что ежели умершего огню предавать, то костер надо очень сильный устроить, а плавнику в этом месте вовсе немного встречалось. Значит, в рассуждении похорои матросу проще было камней набрать и камнями умершего завалить. Никифору Алексеечу беспрерывно хотелось это дело выяснить, но Кузнецов сильно забоялся и стал его упрашивать, чтобы, на осень глядя, поскорей во-своиш идти.

Бегичев просьбу товарища уважил.

Но он, конечно, на этом не успокоился. Он зи-

му в Дудинке прожил, а летом нанялся в геологическую экспедицию Урванцева. Урванцев тогда возле Диксона работал. Тут Никифор Алексич и нашел второго норвежца.

Это все случайно произошло. Никифор Алексич охотился километрах в четырех от Диксона и на материковом берегу, как раз против радиостанции, наткнулся на труп норвежца. Матрос перед смертью заполз в глубокую расщелину. У него уж кости наружу проступили, одежда на скелете истлела, карман жилета оттопырился и в нем блестят золотые часы. Подле трупа валялся парусиновый пакет с почтой Амундсена и еще хронометр и компас. Матрос, как видно, надеялся дойти до места назначения и поэтому почту не бросил. Он, может, прилет отдохнуть да и застыл совсем.

Это, конечно, только догадки одни, а как все на самом деле было, — никто точно сказать не может. Вот подумаешь о том, что матрос девятьсот километров прошел, а погиб в виду огней Диксона, — и только диву даешься. А меня тут другая скорбь берет. И надо же было Никифору Алексичу искать этого норвежца! Ведь не найди он его — не дали бы ему норвежской награды и, может, был бы он, Никифор-то Алексич, до сего дня и жив и здоров...

Иван Павлыч вздохнул, потер ладонью морщинистый лоб и рассеянно глянул на Марка. В комнате все стихло. Стало слышно тиканье часов и легкое дребезжанье стекла, шпотно укрепленного в окне.

— Баллов на восемь будет, — сказал Иван Павлыч, и Марк понял, что он говорит о ветре, попявшемся на улице.

В сенях послышался медленный и быстрый топот. Иван Павлыч встал, медленно приблизился к двери и открыл ее. В комнату вошла с серпиготом фыркающим самоваром толстая его жена. Торопливым и дробным шажком она подбежала к столу, с разлету поставила самовар и направилась к буфету: начались приготовления к чаепитию.

Марк поднялся, раза два прошелся по комнате и остановился у окна. Ветер усилился. В четырехугольнике света, падавшем из окна, до земли гнулась картофельная ботва. Листья ее жалобно трепетали, показывая светлую изнанку. Марк подумал, что по реке тепежь пойдет сильная волна и что завтра, пожалуй, не придется ехать на съемку... Кинематографисты просидят весь день за карточным столом... Хорошо бы пойти куда-нибудь с Пельной!..

— Милости просим! — сказал Иван Павлыч, приглашая Марка к чаепитию. Толстуха поставила блюдо с неизменной сельдюшкой и вышла из комнаты. Мужчины уселись, — Иван Павлыч придвинул стакан с дымящимся чаем и заговорил раздумчиво и медленно:

— Да, не случись этой награды, у Никифора Алексеича все бы, конечно, обошлось добром. Впрочем, тут и другие обстоятельства были. Дело-то ведь как сложилось?

В позапрошлом году сообщили нам из Дудинки, что Никифор Алексеич отправился на промысел. Мы, — помню, — тогда очень удивились: незадолго до этого Бегичеву от норвежского правительства крупное награждение пришло, и он в тот момент в средствах не нуждался. П это тем более удивительно было, что Бегичев уже года четыре из Дудинки никуда не трогался, и мы все

привыкли считать его вроде как на покое. По возрасту ему самое время было на стариковском положении находиться: он хоть и крепкого сложения человек был, а все-таки годы его к шестому десятку подкатывались.

Мы дудинского жителя, который к нам с вестями приехал, стали выспрашивать, в чем тут дело заключается. Он только руками разводил:

— Сами, — говорит, — ничего не понимаем, нас, — говорит, — дудинцев, просто удивление берет: ведь Бегичев куда промысловать поехал? В устье Пясны, — вот куда. Путь, сами знаете, не близкий, а Бегичев с собой самых неподходящих людей взял: Горинова, Сапожникова и долганина Николая, которого у нас все за полоумного считают. Ну, Николай, — это еще туда-сюда. Вот вы угадайте, кто еще с Бегичевым поехал? Ни за что не угадаете, потому что к нему Натальченко в артель влез.

Так дудинский человек повесть нам обрисовал. Мы, когда услышали про Натальчишку, так и последнего понятия лишились. Нам ведь известно было, что за птица этот Натальченко.

Он в Дудинке телеграфистом служил, и его с телеграфа выгнали за игру в утюг. Вы вот смотрите на меня и не понимаете, что это за игра такая. А игра это вот какая была. Телеграфистам одно время для чистки аппаратов спирт отпускали. От этого, конечно, пьянство развилось, а больше всех Натальченко пьянствовал.

Он ведь что удумал? Он в аппаратную утюг принес и повесил его к потолку на длинной веревочке. Потом он телеграфистов в круг усадил, и утюг раскачал, и велел зубами его ловить.

Условие такое было: кто скорее утюг перехватит, тот и будет в игре победителем.

По пьяному делу телеграфисты рожки себе поразбивали, и Натальченко за эту шутку попросили с работы. Он в Дудинке безо всякого дела болтался. Мы, когда узнали, что Бегичев его на промысел взял, то между собой так порешили, что Бегичев по доброте своей захотел парню мозги проветрить и все-таки какой-никакой заработок ему дать.

Однако впоследствии времени затея эта совсем иначе обернулась. Боцманская артель на Пясиню зиму перезимовала, а по весне приехали в Дудинку Натальченко с Сапожниковым и со слезами оповестили, что Никифор Алексееч на промысле умер. Натальченко даже фотографии привез: он Никифора Алексееча и на столе снял, и в гробу, — и крест на могиле тоже догадался сфотографировать. Народ спрашивает, отчего Бегичев помер. Натальченко всем объясняет, что, дескать, от цыги.

Ближе к лету в Дудинке появился Горинев. Когда его спросили, как Никифор Алексееч помирал, он заметно растерялся и только ответил, что ничего не знает. Оказывается, Никифор Алексееч не на глазах у него помер, потому что он, Горинев, с долганином Николаем уезжали на осмотр песцовых ловушек, а когда они вернулись на зимовье, Бегичев был уже похоронен.

Люди насторожились, спросили Горинева, был ли Бегичев болен. Горинев лучше прежнего струсил, но все-таки подтвердил, что Никифор Алексееч оцыжиал и в то время, как он, Горинев, с Николаем на осмотр ловушек собрались — Никифор Алексееч пластом лежал.

Тут, конечно, разные разговоры пошли. Одни так толковали, что боцман — поляк опытный и до цынга себя не мог допустить, другие их оспаривали, что на всякий-де случай не загадаешь, и боцман-де в дрекловных годах был и цынга вполне могла его повалить.

Вот так поговорили люди да и примолкли. Боцманна поскорости уехала. Немного погодя уехал и Натальченко. После прошел слухок, будто они поженились в Миусинске и будто Натальченко носит боцманские часы и пропивает боцманскую награду.

Не могу сказать точно, правда ли это. Но на правду очень похоже. Я так думаю, что Натальченко не чист в этом деле.

Когда он вслед за боцманшей из Дудинки уехал, там стали поговаривать, будто у них уезжака имелась еще при жизни боцмана. Может, это так и было. Боцману ведь все-таки шестьдесят стукнуло, а боцманна в самых цветущих годах находилась.

Я иной раз задумаюсь об этом, и у меня догадка такая является, что не иначе — боцман заметил неладное между женой и Натальченко. Могли ему и сказать об этом, а он, как человек гордый, никому и вида не подал и порешил беду свою в тундре пэжить. От этого, может, он и придумал промысловую артель. Натальченко в артель не годился, но он Натальченко взял, чтобы подальше от греха его убрать.

А у Натальченко свой интерес был в артель набиваться. Прямых улик против него нет. Но разве не подозрительно, что он поторопился до приезда Горнинова и Николая похоронить Никифора Алексеича? Семенова, одного-то, можно бы-

ло и подкупить. И опять же фотографии возьмите... Промысловик идет в такую даль,— зачем, спрашивается, понадобилось ему тащить с собой фотоаппарат и пластинки? Никифора Алексеича, заметьте, он в гробу с магнцем снял,— значит, он и магний не забыл захватить?

Вот подумаешь об этом обо всем пристально, и невольно подозрение является.

Иван Павлыч откинулся на спинку стула и долго сидел, неподвижно глядя на огонек лампы. Толстуха вошла и стала разбирать постель. Марк поднялся.

— А прямых улик все-таки нет! — оказал Иван Павлыч, протягивая ему руку...

Марк вышел потрясенный. Он думал: «Негодяев нельзя оставлять безнаказанными, надо написать статью в газету». Но для разоблачений нужны факты, а Иван Павлыч правильно сказал: прямых улик нет.

Марк медленно сошел с крыльца. Ветер сорвал с него кашку, он этого не заметил. Он брел по тротуару, стараясь вызвать в воображении лица Бегичева, боцманши, Натальченко.

Вытрясти бы из этого Натальченко пакостную его душонку! Ему бы в тюрьме гнить, а он роскошно погибнет от воды.

Марк споткнулся и, по инерции, чтобы не упасть, пробежал несколько шажков по тротуару.

— Да вы что, пьяный? — слышатся вдруг гортанный, слегка хрипловатый голос.

Марк увидел Пельфу. Она вышла из-за свердловской избы, приземистая, широколицая, ветер трепал ее юбку и белый платок, которым она повязала голову.

— Вы почему на суглан не пришли? — спро-

сила она и, не дожидаясь ответа, оживленно заговорила о спорах, которые были на суглаве. Постановление о постройке питомника все-таки прошло. Рик подтвердил обещание отпустить ее сразу.

— Я сейчас у председателя рика была, — говорила Пельна, насупливая косо начертанные бровки. — Завтра в питомник Интегралсоюза пойду, там мне книги надо забрать.

— А мне можно с вами пойти? — спросил Марк, любуясь деловым азартом девушки.

— Ну что ж, можно, — сказала она и, чуть подумав, добавила: — Ты знаешь горелую сосну за амбарами? Приходи туда завтра в шесть часов, оттуда дорога прямо к питомнику идет. Только ты не опаздывай, а то идти темно будет.

— Не опоздаю, раз ты велишь, — сказал Марк, улыбаясь внезапному переходу на «ты». — Погоди, — добавил он, заметив ее движение к дому, — погоди, пожалуйста, мне с тобой поговорить надо.

И он стал говорить о поручении Агнии Федоровны.

Пельна насупила брови, толстоватые ее позвонки сердито затрепетали.

— Не пойду я за Понурова, — хмуро сказала она. — Не нравится он мне совсем.

— Кто же тебе нравится? — спросил Марк.

— Кто-нибудь да нравится, — засмеялась Пельна. — Может, ты нравишься.

Пельна вдруг схватила его за плечи, притянула к себе и поцеловала в губы. Марк хотел удержать ее, она ловко вывернулась и побежала к дому. У крыльца она подняла шляпку и кинула ее Марку.

Пока Марк наклонялся за кепкой, Пельна вбежала на крыльцо и скрылась за дверью.

— Завтра, завтра! — крикнула она и затоптала по коридору.

Марк надел кепку, постоял, улыбаясь, и пошел к монастырю.

«Ну что ж, Пельна! Я буду ждать у горелой сосны... Скорее бы только наступило завтра».

## VII

Случилось так, что Пельна пришла к горелой сосне раньше назначенного часа. Марк еще издали заметил, что она по-праздничному приоделась. На ней была новая жакетка, новая черная юбка, шелковые черные чулки и открытые туфли со стальными пряжками.

— А где твой котелок? — спросила она, когда Марк поздоровался с ней. Он не понял, о каком котелке она говорит. Она взглянула на ружье, которое висело у него за плечом, и, засмеявшись, сказала:

— Ну, как же, ты ведь русский охотник, хвастун с котелком!

Марк тоже засмеялся и добродушно попросил считать его хвастуном без котелка. Украдкой он поглядывал на Пельну. Ее лицо, широконосое, смуглое, позолоченное блестящим от вечернего солнца пушком, не выражало ни растерянности, ни смущения. Похоже было на то, что она позабыла о вчерашнем поцелуе. Но для кого она так нарядилась — для него или для людей, которые поджидали ее в питомнике?

Под расстегнутой, узкой в поясе жакеткой поблескивала шелковая, лимонного цвета кофта,

волосы были стянуты широкой лентой, красные бусы плотно охватывали шею. Она как-то сразу похорошела, глаза ее сверкали, крупные зубы ослепительно белели, на щеках зажегся румянец, и матовая кожа лица стала от этого тоньше и прозрачней: она будто осветилась изнутри. Марк не знал, чему приписать эту перемену, — праздничному ли наряду или сильному внутреннему чувству, похожему на ожидание какой-то радости.

— Итти надо, — сказала она и, сняв жакетку, повесила ее на руку. Тайга начиналась прямо от амбаров. Тропинка, убегавшая в ее зеленоватосизую мглу, была так узка, что Марк и Пельна с трудом могли итти рядом.

Ветер, который бушевал всю ночь, не был так разрушителен, как предполагал Марк. Только на опушке он увидел свежеснадломленную ель, в самой же тайге деревья стояли непоколебимо и стройно. Рыжие отблески заката прозрачно светились на их вершинах, прямые же высоченные стволы все больше погружались в предвечерний сумрак.

Пельна не обращала внимания на лес. Она неутомимо болтала. Марк украдкой любовался ею: от быстрой ходьбы она еще больше разгорелась у нее порозовели даже уши, а губы стали нестерпимо ярки.

Пельна говорила о подруге, которая ее ждет в питомнике, и еще о том, что обратно он пойдет один, потому что она останется у подруги. Ему надо итти не этой тропинкой, а берегом. Речная дорога длиннее, но он зато не заблудится и выйдет прямо к монастырю.

Марк едва поспевал за Пельной. Она, каза-

лось, не шла, а летела.— стальные пряжки на ее башмаках сверкали, разплавленные хвощи потрескивали под каблуками. Неожиданно она обернулась и спросила, какую птицу собирается он добыть в тайге.

Марк неосторожно сказал, что утку.

— Утку? — повторила она и даже остановилась от удивленья.— Утку в болотах добывают, а здесь надо куропатку стрелить или глухаря! Да ты стрелил ли когда-нибудь птицу?

Марк признался, что он стрелял только в тире. Пельна не знала, что такое тир. Пришлось объяснять ей. Она недоверчиво заглянула в его глаза и удивленно проговорила:

— В стснью-то зачем стрелять? Заряд бы на птицу годился или на зверя.

Марк сказал, что в городе нет ни промысловых зверей, ни промысловых птиц.

— Ничего-то ты не знаешь! — укоризненно сказала Пельна.— А я вот с пяти лет промысел узнала. Я вовсе маленькая была, а уж бабушка мне лук подарила. Из лука лённую птицу можно бить. У нее ведь перья липяют, и она летать не может, только бегаёт.

Пельна начала объяснять, какие стрелы нужны на лённую птицу и какие на летную, но тут же спохватилась и торопливо прервала свой рассказ:

— Надо торопиться, а то уже скоро стемнеет.

Они пошли, сталкиваясь плечами. Тропинка спустилась в распадок, потом зазмеялась вверх. Деревья впереди поредели, в просвете стволов завиднелось небо в багряных от зари облачках.

— Скоро придем,— сказала Пельна,— вот сей-

час выйдем к поляне, а за поляной свернем к рке, и там будет питомник.

Она наклонилась, на ходу сорвала цветок, — розовый, с крупными вялыми лепестками, — и опять заговорила об охоте. Она говорила о том, что лениую птицу надо бить в шею, с таким расчетом, чтобы развилка стрелы начисто срезала голову. Она даже растопырила пальцы, показывая, какая должна быть развилка. Марк посмеивался над ее охотничьим пылом, но она не понималась. Она говорила о хитрости куропаток и о лукавстве белок, потом стала хвалить Марково ружье. Ей особенно нравилось, что оно двуствольное.

Деревья между тем расступались шире, и скоро стала видна вся поляна, поросшая высокой, как кустарник, травой. Из травы выглядывали все те же розовые цветы и еще коряжистые пни.

— Глухарь! — крикнула вдруг Пельна и показала рукой на сосну, стоявшую в стороне от сомкнутой толны деревьев. Марк не сразу заметил птицу. Она сидела на суку, серая и рябенькая. Она грелась на щебернем солнце и, может быть, отдыхала.

Пельна подтолкнула Марка:

— Стреляй!

Он снял ружье и прицелился. Кюнда прогремел выстрел, птица осталась на дереве.

— Хвастун с котелком! — засмеялась юрчка. — Ох, беда!

Смеясь, она перебежала поляну. Птица, серая, рябенькая, не улетала. Она, может быть, впервые видела охотника, а он целился, целился до слез.

И когда слова прогремел выстрел и птицу ступило с сосны, он бросил ружье и жинулся к дереву. Птица падала камнем, ломая сучья, она упала в траву и судорожно забила. Он побежал к ней, свирепо повторяя:

— Моя, моя!

Птица трепыхалась, разбрызгивая кровь. Марк почти упал на нее и с отворачиванием, думая, что так поступают охотники, отвернул ей шею. Ягдташа с ним не было. Он немного подумал и подвязал птицу к поясу. Она повисла на вытянутых лапках. Он с торжеством поглядел на юрочку.

Даже издали было видно, что она смеется. Он сердито крикнул:

— Перестань!

Она засмеялась еще громче.

— Перестань! — повторил Марк и так резко повернулся, что трава под его ногами скрипнула.

Юрочка продолжала смеяться. Он подхватил ружье и пошел к ней, — птица запрыгала на его бедре. Он не замечал крови, капельки стекали с рябешьких перьев, а он видел только заморозившее лицо юрочки и ее трепещущее горлышко, на котором тоненько тенькали бусы.

— Замолчи! — крикнул он и, отивырнув ружье, схватил ее с такой силой, что разорвались бусы. Она торжественно крикнула и придержала бусинки. Он заглянул в раскосые глаза (теперь они были раскосые) и, не помня себя, припал к ее торящему обветренному рту. Она разжала руку. Бусинки посыпались в траву. Потом наступила слепота, и река шумела в ушах.

...Опомнились они в траве. Пельна лежала, как

подбитая птица, ресницы вздрагивали на ее побледневшем лице. Он виновато шепнул:

— Милая, не сердись?

Пельна вскинула ресницы, — он увидел влажный и счастливый блеск раскосых глаз и медленно стал целовать их, — левый, правый, левый, правый, — пока она не освободилась и не вскочила на ноги. Марк хотел удержать ее, но она вырвалась, и он опрокинулся на спину.

Именно тогда он увидел три мутных луны. Они висели в невысоком небе прямо над его головой. Марк поднялся и растерянно пробормотал:

— Три луны!

Пельна глянула на мглистое небо и с приметной печалью сказала:

— Значит, теперь осень пришла.

— Почему ты так думаешь? — удивленно спросил он.

— Когда лету конец, луна детей ролит, — так наши люди говорят.

Голос Пельны прозвучал слегка надтреснуто. Он обнял ее, и они стали смотреть в невысокое небо. Луна смотрела на них в три слепых глаза.

— Осень! — сказала Пельна. — Вот придет последний пароход, и ты уедешь.

— Ты тоже уедешь! — запальчиво сказал Марк. — Будем вместе в городе жить.

— Нет, — тихо сказала Пельна, — я к нашим людям уеду, сделаю нашим людям собольиный питомник.

— Тогда я тоже останусь! — твердо сказал Марк и увлеченно стал расписывать, как они вместе уедут к ее людям. Он верил, что действительно останется здесь и будет жить в чуме.

Пельна вдруг засмеялась и высвободила из-под его руки покорное и крепкое плечо.

— Нет, ты уедешь, — оспой сказала она, — тебе надо в городе жить!

Он шагнул к ней, она отстранилась и повелительно вскинула ладонь. Марк заглянул в ее глаза, — они уже не были дымными, — она сказала, что ему надо идти домой. Он не успел ее остановить. Пельна крикнула: «Завтра, завтра!» — и побежала по тропинке. Только теперь Марк подумал, что она не забыла о книге, за которой шла. Его тронуло это проявление преданности делу, и он вдруг поверил, что она выстроит питомник и станет жить в доме с деревянной башней, откуда будут видны провололочные вольеры соболей. Он смотрел ей вслед, шептал непонятные ему самому слова и слабо улыбался. Когда же невысокая ее фигура скрылась за деревьями и не стало слышно торопливого хруста шагов, он вскинул ружье и пошел к монастырю. Три луны поплыли над ним, предвещающая осень. «Осень, — сказала Пельна. — осень!» Но откуда у нее такое убеждение, что он должен жить лишь в городе? А разве он не может жить в доме с деревянной башней, наполненном воем шурги и треском сучьев в камельке? Надо бы ответить ей, что он тоже хочет заниматься разведением зверей в неволе.

Но она сказала — завтра, — и вот он шатает по лесу, и валежник хрустит под ногами, и луны идут над головой, указывая путь. Он выходит к реке и встает в стеклянной тишине ночи. Он думает о Пельне и еще о том, что вот окончилось глухонемое лето и судьба отнимает у него счастье.

Какая-то птица со свистящим шумом крыльев проносится над головой. Он вспоминает о своей птице; она висит у пояса — мертвая, шмятая. Он вздыхает и трогается в путь. Луны идут над ним, отражаясь в воде. Тишина кажется тягостной, и он начинает петь:

Тум, тум, тум, тум,  
Та-а-ак, ю-о-чь и-и-дет..

Так он идет в стеклянной ночи — камни осыпаются под ногами и скатываются в воду. Они булькают и разбивают отражения лун. Он идет по высокому берегу, и валежник хрустит под ногами, а птица бьется о бедро, и с рябеньких перьев падают кровинки. Они красны, как бусы, рассыпанные там, под деревом.

— Тум, тум, тум, тум! — поет он и вдруг останавливается и говорит деревьям, реке и стеклянной ночи: — Прощай, лето!

## НА ПАРОХОДЕ

### I

Олень стоял на скале, задрав голову так высоко, что ветвистые рога его закинулись на стену. Неподвижный, серебряный от луны, он стоял, как изваяние, и призывно трубил. Марк протянул руки и в темноте ощутил холод стены.

Щеки его были мокры от слез,—значит, во сне он плакал.

Каюта содрогалась от сильных толчков машины. Трубил не олень,—это ревели пароходная сирена: резкие ее гудки прокатывались над широченным плесом и отдавались в береговых лесах. Время, должно быть, перевалило за полночь,—на пароходе все погрузилось в сон, и только одно в каюте тоненько пробежало да еще плицы звонко шлепали по воде.

С каждым ударом пароход все больше удалялся от монастырского берега. Теперь уже не было смысла идти на палубу,—Олений Камешь давно остался позади, и Пельна, конечно, ушла домой. Она, шаверное, стояла на Камне, пока огни парохода не скрылись за островом. Быть может, она шептала последние приветы, а он в это время спал. Как мог уснуть он в такую минуту?

Впрочем, это был не сон, а скорое беспамятство. И теперь — щеки его мокры от слез. Целена, олень моя, шеужели мы никогда не увидимся?

## II

На пароходе все спали. В каюте было полутемно, лунный свет пробивался сквозь жалюзи, и чешуйчатые блики переливали на полу, как вода в лужице. Марк оделся и пошел на палубу. Но, дойдя до лестницы, ведущей в четвертый класс, вдруг переменял направление и полез вниз.

Пароход отаплился дровами, и во всех проходах нижнего этажа стояли высоченные полешницы. Пассажиры четвертого класса, — грузчики, зверобой, рыбаки, — умело приспособились к обстоятельствам. Нижний этаж являл поэтому картину совершенно необыкновенную. Пестрое его население разобрало часть полешниц и построило из дров довольно вместительные каюты с оконцами для света и просторными отверстиями для входа. Сейчас люди спали, и отверстия были завешены одеялами и полотнищами от палаток. Только в одной каюте, из которой сквозь дровяную кладку пробивался яркий свет, слышался приглушенный и как будто не русский говор. Марк обошел громоздкую надстройку машинного отделения и оказался против незавешенной двери.

Собеседников было четверо. Горбоносый парень явно не русского обличья сидел на скамейке, обняв румяную женщину, с курносьем и сероглазым лицом. Напротив сидела топенькая и очень милостивая девушка в самоедском красном

кафтани и приземистый юноша, тоже не русского обличья, но в русском пиджаке из чортовой кожи и в сильно заношенной кепке. Смуглая рука юноши, забинтованная марлей, лежала на коленях самоедки, лицо его, широкое и скуластое, выражало боль и озабоченность.

Марка больше всего заинтересовал парень, юбнимазший румяную женщину. Он, конечно, был тунгус или юрак и в то же время, судя по костюму с корректным воротником и галстуком, несомненно городской человек. Марку хотелось заговорить с ним, потому что красивое матовое лицо парня с косо начертанными бровями отдаленно было похоже на лицо Пельны.

Марк попросил спичку, а потом сказал горбоносому, что он где-то видел его. Горбоносый сказал, что это было, наверное, в Северной Азии. Марк не понял, и горбоносый объяснил, что он имеет в виду журнал «Северная Азия», где напечатана его статья, а также фотография.

— О чем же вы писали статью? — спросил Марк.

— О долганской жизни, — ответил горбоносый и, чуть помолчав, пригласил Марка сесть.

Новый знакомец был не тунгус, как он думал, а долгачин из Илимпейской тундры.

— Фамилия моя — Милетин, — сказал новый знакомец и тут же объяснил, что он учится в Ленинграде, в Институте народов Севера, и что каждое лето он ездит на каникулы в тундру, а обратно возвращается с новыми абитуриентами. В прошлом году, например, он привез в институт двух тунгусов и одного юрака, в нынешнее лето удалось завербовать самоедскую пару.

— Его Яшей зовут, — сказал Милетин, пока-

зывая на юношу с забинтованной рукой,— а эту красавицу Полей. По-самоедски у них другие имена, да вам этих имен все равно не выговорить. Яша-то бедного сословия, он у Полинного отца три года работал. Это, конечно, отработкой за калым считалось, и ему еще за Полю два года работать надо было, да я, вот видите, забрал их и везу в Ленинград. В Ленинграде мы их без всякого калыма поженим, а через год народится маленький Яша, и он, конечно, так кричать будет...

Милетин сделал трубочкой пунцовые губы и проищал в сторону молодого самоеда:

— Папа, папа!

Самоед, который напряженно прислушивался к разговору, вдруг переменялся в лице и испуганно сказал:

— Борони бог!

Маленькие его глазки округлились, толстые щеки дрогнули. Он поднял большую руку и возбужденно заговорил по-самоедски. Милетин выслушал его и засмеялся; широкое лицо долгана будто раскололось от смеха,— так много появилось на нем морщинистых трещинок.

— Чудак-человек! — снисходительно сказал он и стал объяснять Марку причину внезапного волнения самоеда. По обычаю тундры, Яша в случае рождения у него ребенка от жены, за которую калым еще не отработан полностью, должен выкупать также и ребенка. Яша высчитал, что при таких обстоятельствах он должен был бы работать на тестя не два года, а целых пять лет.

— Чудак-человек! — опять повторил Милетин и, постыжавшись, легонько столкнул головами

женых и невесту. Девушка хихикнула. Молодой самоед положил забинтованную руку на красный кафтан подруги и успокоенно притих.

— Не чудак, а лентяй! — прервала молчание румяная женщина.

— Почему же лентяй? — удивился Марк.

— А как же не лентяй! — сказала румяная грудным, необыкновенно звучным голосом. — Ему и пяти годов за Полю работать не хочется, а вот тезка его Яков за жену свою четырнадцать лет у тестя овец пас.

Милетин спросил, о каком Якове идет речь.

— Это уж не твоего ума дело, — засмеялась румяная и, показав на Марка серыми, ласковыми, в светлых ресницах, глазами, ехидно добавила: — Они все понимают, про какого Якова я говорю, потому что они православные и Библию читали.

— Я Библию тоже читал, — с легкой обидой пробормотал Милетин, — только про Якова что-то не помню.

— Вот и видно, что не помнишь, — улыбнулась румяная, видимо, довольная тем, что заставила покраснеть самолюбивого долганина. — А я эту историю хорошо знаю, потому что Петр Семеныч при мне много раз ее читал.

— Опять ты, Ариша, Петра Семеныча вспомнила! — сказал Милетин и раздраженно глянул на женщину.

Она покривила маленький, почти детский рот и строптиво возразила:

— А мне и надо его вспоминать, потому что он до меня добрый был.

Марк вопросительно посмотрел на Милетина и на Аришу. Она поняла его недоумение и, оборо-

тась к нему так, что должанину осталось только созерцать ее затылок и пышные плечи, оживленно начала толковать о Петре Семеныче.

Петр Семеныч был старшой промысловой артели, в которой Ариша состояла зимовщицей. В артель входили еще два старика — Петр Средний и Петр Малый. Ариша напаялась к старикам именно потому, что года их, сложенные вместе, составляли не менее полутора ста лет. До этого случая она зимовала с молодыми мужиками, и опыт зимового убедил ее в том, что женская честь в артелях подвергается сильным испытаниям. Старикки казались ей совершенно неопасными в этом отношении.

На всякий случай она предупредила, чтобы на зимовье они следили друг за другом и не допускали охальства. Старикки сказали, что за ними этого не водится. Они даже обиделись на Аришу, но она еще раз сказала, чтобы они держали уговор.

Осенью артель переправилась на промысел. Зимовье у стариков находилось за Дудинкой, возле фактории Интегралсоюза. Маленькая избышка, всего шесть на шесть аршин, сначала не понравилась Арише, но она скоро разглядела, что избышка умно поставлена под защитой холма и близко от воды.

— Я даже обрадовалась тогда, — рассказывала теперь Ариша, поглядывая на Марка серыми, пристальными глазами. — Вот, думаю, благодать мне какая. — первым делом за водой близко ходить, а второе — изба тепло держит. — значит, с дровами меньше маяты.

Старикки свое дело знают: только мы приехали на место, а они уж сразу за работу взялись.

Старшой, Петры Семеныч, в сеях полук понавешал, Петры Малый дров живесть сколько нагащил, а Средний Петры где-то белой глины наковырял и начал печку обмазывать. После того старики всю избу ухетовали, на потолок земли навалили, щели паклей проконопачили, полы обстругали заново.

На все это устройство им только один день и понадобился, а уж к вечеру они деревянную кровать смастерили и поправили нары. Ночь пришла — они на этих парах постелились, а мне новую кровать поставили. Утром, часа не теряя, они на промысел ушли, а я за свое стряпушечье дело принялась.

С того дня у нас так и повелось: старики на промысел уходят, а я на приволье стряпаю и обихаживаю зимовье. Усердия у меня много было: по уговору, в промысле мне пятая доля причиталась, и я так своим умом рассуждала, что раз старики для общей пользы стараются, то и мне для них постараться не грех. Охотники они опытные были и домой с пустыми фуками никогда не приходили. На зимовье они тоже без дела не сидели.

У них того не было, чтобы, скажем, в карты играть или без толку зубы скалить. Петры-то Малый все больше капканы мастерил, а Петры Средний умел хорошо пушнину паялить. Старшой наш, Петры Семеныч, очень был к божественному приверженный. У нас так и повелось, что два старика со своим заделем сидят, и старшой тем временем библию вслух читает.

Этаким манером, в тихости да в спокойе, прожили мы ползимы. С крещенья бураны начались, а бураны внизу такие бывают, что на улицу

хоть поса не кажи. Охотникам пришлось в зимовье отсиживаться, и тут начала я замечать, будто они на себя не похожи стали.

У них, может, от сиденья в избе кровь застоялась, а может, дурные думки в голову заскочили, только начали оба Петры — и Малый и Средний — вокруг меня семенить да так поглядывать, точно на мне какие узоры есть. Старшой в ту пору захворал, а эти двое того только и ждут, чтобы со мной один-на-один столкнуться. К примеру, выйду я в сенцы, — смотрю, Петры Малый тут как тут, а следом и Средний Петры ломится, и они друг на друга чисто как медведи озираются. Мне от них и смех и горе. А старшой наш, Петры-то Семеныч, все больше расхварываться начал.

Сначала ему грудь завалило, потом кости стали болеть, а когда десны спухли да кровоточить начали, мы сразу и поняли, что это цыбга прикинулась и, значит, старшому, при его-то летах, приходит конец. Он на глазах из силы выходит, и уж на лицу его вовсе не поманывает, а только все клонит и клонит в сон. Ему все хуже, а мне все страшнее делается. «Вот, — думаю, — умрет он, и каково мне будет с двумя-то медведями да в одной берлоге зиму коротать».

Подумала я, погоревала, поплакала даже, а тут вдруг большой стал говорить, что вот, дескать, ему уж теперь не поправиться. Мы его ободряем, говорим, что ему еще рано на себя смерть наближивать, а он одно свое:

— Нет, — говорит, — братцы, это уж я чую, нравы мне больше не мять.

И верно: раньше мы замечали, что ему день ото дня хуже делается, а тут уж видимо стало,

как он час от часу меняется. Ему уже не только что встать — повернуться стало трудно.

Один раз подзывает он стариков и говорит:

— Есть у меня, братцы, последняя к вам просьба, и вы должны эту просьбу исполнить.

Старики говорят:

— Сказывай, какая просьба!

— А просьба такая, — говорит им старшой, — чтобы вы отсюда ушли.

Старики удивляются, спрашивают, зачем же им уходить, да еще и в зимнее время.

Старшой тогда объясняет, что он уж давно видит, как они друг на друга косятся.

— Мне, — он говорит, — хочется в спокойное умереть, а вы из-за Аршии готовы в ножи броситься. Опять же зимовщицу мы обнадежили, и нам, старым людям, обманывать ее вовсе непростительно.

Старики смутились и духом пали, но тут уж поделаться ничего нельзя, и они говорят старшому, что он правильные слова сказал и они его просьбу исполнят, но только придумать не могут, в кое же место им теперь подаваться надо.

Старшой тогда говорит:

— А ступайте вы, братцы, на Гольчиху, там в Назимовском зимовье артель Сухого стоит, и Сухой вас примет, когда вы объясните, по какой нужде отсюда ушли.

Старики спрашивают, кое же время им выходить.

Старшой говорит:

— Выходите завтра!

И тут же велит мнѣ хлеба на дорогу печь. Я тесто завела, старики собираться начали. Старшой им свою долю в промысле отдал, и у них

пушнина изрядно собралось. Старик снарядил свое хозяйство, я печку топлю.

В сенцах у нас варта стояла. Старик на нее погрузился и стал обувь зашивать. Тем временем тесто поспело, и я посадила хлебы.

Старшой правильно высчитал: нам еще только день понадобится, и вот уж у нас все изготовлено и старик перед путем за стол в последний раз уселся. Петры Семенович велит мне библию почитать. Я библию взяла, и она на том месте открылась, где описано про Якова, как он два срока и еще шесть лет у тестя батрачил, и как тесть вздумал его обжулить, и как Яков не поддался и обратно тестя обманул. Я эту историю читаю, а сердце у меня колотится и буквы в глазах сливаются. И как дошла я до слов: «Отпусти меня, и я пойду в свое место и в свою землю», тут одолела меня печаль, и слезы сами собой полились. Я уж не могу сказать, о нем ли плакала, о покойных ли родителях или о самой себе, но только плакала горько и успокоить меня долго не могли.

Когда затихла, Петры-то Семенович голову над подушкой поднял, и эти слова, которые я прочитала, отчетливо и ясно повторил. Потому он велел мне из библии чистый листок вырвать. Я подумала, что это он в беспамятстве говорит, но Петры Малый меня подтолкнул, и я приказ старшого исполнила. Он тогда перекрестился и велел записывать. Мне, конечно, жутко сделалось, но я с собой совладаю и принялась слова его записывать.

Он велел написать, что находится он на смертной постели, но в трезвой памяти и в твердом уме и что имеются при нем такие-то

свидетели и при свидетелях он завещает дом свой в городе Минусинске Арине Иннокентьевне Петуховой. Это, значит, мне.

Я опять в слезы и стала от дома отказываться, но он меня остановил и строго так сказал, что это его смертная воля и что родни у него нет и он оставляет мне дом потому, что я глаза ему закрою и в последнюю дорогу соберу.

Ну, тут делать нечего, написала я все по форме, и он велел старикам руку приложить.

После того стали с ним старики прощаться, поклонились ему до земли и пошли своей дорогой. Мне довелось одной до смерти старшего остаться. На счастье, он не на моих глазах помер.

Не могу сказать, на какой это день случилось, потому что тогда дня еще не было и ночь стояла круглые сутки. Помню, что спала я и во сне меня будто кольнуло. Лампешка у нас круглые сутки не гасилась. Я подошла к старику, тронула его за руки и чувствую — он весь холодный.

Тут вспомнились мне слова, которые он много раз говорил. А наказ его такой был, чтобы я, как только глаза ему закрою, сразу бы шла на фабрику за тамошним сторожем, который ему хорошо был знакомый. Я, конечно, так и сделала.

Со сторожем и со сторожевой женой мы Петра Семеныча похоронили, и я сразу из фабрики ушла. У жены тамошнего начальника в ту пору как раз дочка народилась, и я к ней в няньки поступила.

В няньках пробыла семь месяцев, а осенью взяла расчет и уехала в Дудинку. Отсюда соби-

ралась в Минусинск поехать, однако в Дудинке, пока пароход ждала, вот с этим чертякой познакомилась, и судьба моя...

— Тетенька! — послышалось вдруг за дровяной стенкой. — А в Минусинске есть хорошие пески?

Кто-то выдернул из кладки полено и сипло откашлялся.

— Опять этот дикошарый! — с неудовольствием сказала зимовщица. Она сдвинула светлые бровки и певно покраснела.

Человек за стенкой сипел и чем-то шуршал. По звуку можно было понять, что это, задевая за дрова, шуршит кожух. Ариша обернулась к дыре, образовавшейся в стенке, и сердито крикнула:

— Отвяжись, нечистик!

Человек в кожухе вздохнул и просунул полено обратно.

— Прямо ненормальный! — громко сказала Ариша. — Он ко всем лезет и всех спрашивает, какие где есть рыбные промысла.

Марку стало неудобно перед человеком, стоявшим за стенкой. Желая прекратить неприятный разговор, он с преувеличенной заинтересованностью спросил зимовщицу, куда она теперь едет. Зимовщица опустила ласковые ресницы и, немного помолчав, ответила, что едет не своим путем.

— А ты своим путем поезжай! — вступил в разговор Милетин.

Смущение зимовщицы, как видно, было ненатуральным. Она насмешливо поглядела на долганина и положила свои лапти на крутое и широкое его плечо. Он понимающе улыбнулся и

обнял ее. Она уронила голову на сцепленные руки и как-то по-птичьи, искоса, поглядела за Марка.

— В Ленинград она едет! — сказал Милетин, качнув ее сильное тело.

— В Ленинград еду! — как эхо повторила зимовщица и, чуть помолчав, добавила: — Он в Александро-Невской лавре живет, где раньше митрополиты жили.

Перемена в ее голосе была поразительна. Только что она кричала на дикошарого, теперь же из ее горла вырывались певучие и мягкие звуки. Она не говорила, а скорее мурлыкала.

Марк понял, что он лишний здесь. Зрелище раскаленной любви было нестерпимо. Он попрощался с новыми знакомцами и вышел из каюги.

### III

Одиноко, как бакан на Енисее, — большего одиночества нет и быть не может.

Марк стоял на корме, среди пузатых бочелков и свернутых канатов. Над головой поскрипывала шлюпка, подвешенная почти вертикально. Ночь клонилась к рассвету, темнеющее пространство плеса лежало неподвижно, а вода, вспененная парохотом, широким хвостом волочилась за кормой. Жемчужная от луны, пена не доплескивалась до бакана, и он только слегка покачивался. Было грустно и в то же время отрадно смотреть на медленное его мерцание.

Одиноко, как бакан. Долганы спят, зимовщица спит, испуганный Яша спит. Совсем, как в песне: «Все по лавкам спят, по запечьям спят, один я не сплю — думу думаю».

Но о чем же дума? О реке, которая вся чувствует от луны? Или о шлюпке, которая скрипит на галях? Спустить бы эту шлюпку, лечь бы на ее дно... Но нет, лето его кончилось... и небо с тремя лунами возвестило осень.

Здесь луна одна. Она истончилась и стала совсем прозрачной. Значит, скоро рассвет. Пельна, наверное, не спит. Флюгерок стучит над ее окном. Она лежит и смотрит в темноту. «Я приеду», — сказала она. Но это невозможно. «Старуха к старику придет к семьку». Надо бы идти в каюту, но...

Кто-то вдруг кашлянул. Марк обернулся. Невысокий чернобородый человек стоял у стешки.

— Не спите? — сказал чернобородый и, не дожидаясь ответа, добавил: — Я вот тоже мзюсь.

Он подошел к Марку и, распространяя от одежды острый запах рыбы, встал у пустого бочонка. Теперь Марк мог рассмотреть его вблизи. Это был обыкновенный рыбац с низовья, кряжистый, широколицый, с шишковатым носом и короткими руками. Только заглянув в глаза его, настороженные и измученные, Марк догадался, что перед ним тот самый человек, которого зимовщица назвала «дикшарым».

Немного помолчав, «дикшарый» спросил, не знает ли проезжий подходящих песков. Марк ждал этого вопроса и все же удивился. Было непонятно, зачем понадобились человеку «подходящие пески», когда на Енисее так много угодий, столь удобных для промысла. Марк сказал об этом собеседнику. Собеседник угрюмо возразил, что ему здесь жить невозможно. Марк не стал

допытываться и только спросил, куда он держит путь.

— А я и сам не знаю,— сказал «дикошарый» и, прошумев кожухом, склонился над поручнями.

Марк, подавив любопытство, тоже оперся о поручни. У него был опыт, накопленный в поездках, и этот опыт подсказывал, что человека нельзя понуждать к разговору. Он сделал вид, будто «дикошарый» совершенно ему неинтересен.

Некоторое время прошло в молчании. Потом Марк выпрямился и всем своим видом показал, что собирается уходить. Рыбак схватил его за рукав.

— Нет, постой,— сказал он глухим и каким-то неприворотным голосом. — Ты, однако, подумал, что я убил кого-нибудь. А я никого не убивал, а что жить мне здесь нельзя, так к этому другая есть причина.

Хитрость превосходно удалась. В предрассветный час, когда звезды стали бледнеть и берега отчетливей выступили из сероватой мглы, Марк услышал историю, сумрачную и страшную. Рыбак рассказывал ее долго, спотыкаясь на каждом слове.

Его звали Нефедом, и он действительно был низовский. Родился он в поселке подле Толстого Носа. Родители его прожили там всю жизнь. Сам он до нынешней осени ни разу не выезжал дальше Дудинки. Родной его поселок — по-енисейски «станок» — насчитывал всего шесть изб. Дудинка со своим тысячным населением была для него порядочным городом. Он знал, что выше Дудинки стоят по реке Енисейск; Красноярск и Минусинск. Он также знал, что в Красноярске

можно сесть на поезд и через несколько дней доехать до Расеи. В Расее, по его мнению, жили «расейские». То были настоящие русские, себя же и других низовских он почему-то считал «смешницей», то есть народом смешанных кровей. Жизнь рыбаков проходит между избой и «песками». У него был ставной невод, переметы, пушальня и старое отцовское ружье.

Так он жил, кормясь «на песках». Рыбу покупали купцы. Когда купцов не стало, на станках открылись фактории. Новая фирма называлась Интегралом. Чуждое название по первости смутило рыбаков, но потом они освоились с новыми порядками и даже нашли, что они для них сподручнее. Сетевый шнур и другой припас на факториях были лучше купеческих, Интеграл ввел контрактацию, по которой деньги и хлеб выдавались загодя, до нереста. Долги, как и прежде, записывались в книгу, но рыбаки перестали бояться начета.

Жить, одним словом, стало легче, хотя Енисей и обещал рыбой.

Нефед не бросил бы насиженного места, когда бы его не вынудил к этому прошлогодний случай. Началось с того, что по весне рыбаки выловили двух утопленников. Милиция узнала об этом, и рыбаков стали тянуть на допросы. Оказалось, что где-то в верховьях затонул пароход, влетевший на опору моста. Поездки в районное отделение, находящееся чуть ли не за триста километров, сильно надоели низовским. Они посоветовались между собой и дружно решили, что утопленников надо сплавливать потихоньку, без огласки.

Нефед, когда в его сети заплывла утопленница,

поступил именно так. Он оттолкнул утопленницу веслом, выбрал сети и вернулся домой.

На другой день, причалив лодку к песчаной косе, он опять увидел утопленницу. Она зацепилась волосами за корягу. Теперь он хорошо рассмотрел ее. Это была совсем молоденькая женщина. Смерть, быть может, застигла ее во сне. Она лежала, еще не тронутая тлением.

Рыбак освободил ее волосы и с печальной добротой сказал:

— Плыви-ка, матушка, к морю.

Потом он подумал: «погребения просят». Река уже подхватила мертвую, и рыбак должен был догнать ее.

Могилу он вырыл на косе. Это было его любимое место, и здесь он похоронил утопленницу.

Тогда нашло на него то самое, что он называл «мечтанием». Марк понял природу этого «мечтания», хотя слова Нефед были смутны и сбивчивы. Одинокий человек, Нефед стал часто бывать на могиле. Он жег здесь костры и варил уху, он шел вожью и думал об утопленнице,— так продолжалось до осени.

Весной же полоя вода смыла косу, и он, не найдя могилы, почувствовал постылое одиночество.

Именно поэтому он наскоро распродал свои снасти и едет неизвестно куда. Знающие люди сказывали, что на Байкале хорошо ловится омуль. Если ему не посчастливится там, он двинется на Лену. Ему все равно где жить,— были бы только пески. Здесь же, на Енисее, он жить не может.

Марк согласился с Нефедом и стал толковать о Каспии.

— Пет, я человек ретной,— сказал рыбак, и Марк не стал возражать. Некоторое время они молчали, потом враз повернулись по своим местам.

#### IV

Преобладающей чертой в характере Марка была приверженность к наблюдениям. Встречи с зимовщицей и рыбаком отвлекли его от бесполезной печали и заставили выйти на люди. Теперь он не уходил с палубы и по целым дням слезил за сменой пейзажей.

Енисей проплывал как бы в замедленной папирате. По мере продвижения к югу берега заметно сближались. Отчетливей стал виден кедр, взбегающий на солнечные елани.

Бабье лето дотисывало с невиданной яркостью. Енисей лежал в бесчисленных блестках. Небо было удивительной чистоты. В синеве его возникали силуэты колоколов. Их линии,—призрачно тонкие,—постепенно твердели. Потом всюду появлялись избы.

Живописность рыбацких поселений была однообразна. Обычно они стояли на еланих. По приоткрыкам сбегали серые дорожки. Внизу, у самой воды, чернели перевернутые лодки. Тень от шевотов лежала на песке. Люди выскакивали на гудок и вставали у дверей. Приладив ладонь к глазам, они смотрели вслед пароходу. Берег понемногу заслонял их. Потом исчезали дома, и в небе опять повисали колокольни. Их очертания бледнели, постепенно истаявая. Позади оставались берега, поросшие тайгой. Тайга стояла сомкнуто на протяжении многих тысяч километров,— белка, перепрыгивая с ветки на ветку,

могла пройти отсюда вплоть до степей Монголии.

Марк грелся на солнце и думал о землепроходцах. Он думал о том, что в их времена тайга была еще более непроходима. Колумб плыл по открытым морям на кораблях, оснащенных пушками. У него были карты и навигационные приборы,— у землепроходцев ничего не было, кроме топоров и пицалей. Историки не заметили разности путей и несходства оснащения. Ослепленные колонизационными предприятиями португальцев и англичан, они с пренебрежением отнеслись к подвигу землепроходцев. Люди, открывшие таежный океан, умерли в неизвестности. Над их острожками и укрепленными поселениями снова сомкнулась тайга. От Мангазеи, которая могла быть русской Ганзой, осталась одна полусгнившая часовня. Между тем движение русских по Енисею началось именно отсюда. Выйдя из Мангазеи, землепроходцы обратились к югу и пошли в неведомое. С ними до степей Монголии прошагала история. Теперь история идет в направлении с юга на север. Советский порт, который строится в Игарке, должен стать новой Мангазеей...

## V

В большом станке Верхне-Ипбатское Марк впервые в здешних местах увидел зеленую полоску огорода. Она простиралась по косогору, примыкая к ограде метеорологической станции. Марк осведомился о продолжительности стоянки и отправился в поселок.

Решетчатая будка метеорологической станции и дождемерное ведро на подставке живо напо-

мнили ему о доме Пельпы. Ограда станции увеличивала самую макушку косогора. У низенькой калитки стояла старуха, сгорбленная и узконогая. Марк спросил, где он может пойти наблюдателя. Старуха сказала, что она и есть наблюдатель. Он мгновенно соврал, что ему надо скопировать данные о продолжительности вегетационного периода.

Старуха позвала его в дом. Комната у нее была маленькая и светлая. На окнах белели занавески. Низенькие кресла были затянуты белыми чехлами. На этажерке стояли книги в серых переплетах.

Старуха нацепила на нос пенсне и взяла со столика толстую тетрадь.

— Пишите, молодой человек, — сказала она и начала листать тетрадь.

Марк вынул блокнот. Старуха пошла нужные сведения, и Марк записал, что весенние заморозки приходится на время от двадцать пятого мая по первое июня.

— Большое у меня несчастье, — ни с того, ни с сего сказала вдруг старуха. — У меня, молодой человек, два месяца назад старичок умер.

Она живнула на портрет в черной рамке, и голос ее упал до шопота. Марку довелось узнать, что муж старухи был наблюдателем и что они прожили на станции целых девятнадцать лет.

«Девятнадцать лет!...» — подумал Марк, и ему отчетливо представились зимние вечера, когда старик и старуха, взяв фонарь «летучая мышь», пробивались сквозь сугробы к решетчатой будке Вильда. Девятнадцать зим и лет прошли в этой комнате среди книг в серых пере-

плетах и метеорологических тетрадей. Старуха точно называла даты.

— Мы сюда в девятьсот восьмом году приехали,— говорила она, сокрушенно глядя на Марка. — Сами мы тамбовские, а в здешние места нас несчастье с сыном загнало. Сын у нас единственный был, и его за революцию сослали в эти места. Старик в Тамбове хорошую службу бросил, потому что сын здоровье слабое имел и мы сильно опасались, что он здешнего климата не перенесет.

Из Красноярска, как сейчас помню, пути нам восемнадцать суток было. Ехали мы зимой, а морозы крутые стояли, я до сих пор не пойму, как это мы живые остались. Если справедливо говорить, так нам бы лучше замерзнуть в дороге, потому что ехали мы к сыну, а в ту зиму ссыльные на погибель свою как раз бунт устроили,— вам, наверное, довелось про это дело слышать?

Марк действительно слышал кое-что о бунте енисейских ссыльных.

Бунт начался в Осиповке, где ссыльные отбили от коновоя двух смертников. Отобрав у ковоштров оружие, восставшие помчались на Север. В береговых станках к ним присоединилось еще одиннадцать ссыльных. Горсточка людей, вооруженная пистолетами и револьверами, с боями прорвалась через кордоны и достигла Туруханска. Здесь ссыльные завладели острогом и разоружили полицию. Целью беглецов была Аляска, куда они намеревались пройти берегом океана. Зимой беглецы очутились в Дудинке, а отсюда отправились в Хатангу. От места побега их отделяло расстояние в несколько тысяч километ-

ров. Но в Хатанге воинская команда настигла беглецов и окружила их в тесном зимовье. Одни из восставших были убиты в перестрелке, другие покончили с собой, двенадцать человек сдались. Из двенадцати до Красноярска доехало только восемь, потому что четвертых команда расстреляла по дороге.

История бунта была известна Марку именно в такой редакции. Тещерь старуха сказала ему, что в числе восставших был и сын ее. В тот день, когда он присоединился к восставшим, ему исполнился ровно двадцать один год. Через несколько месяцев его, к счастью, убили на Хатанге.

Старуха так и сказала — «к счастью», потому что участь оставшихся в живых была ужасна. Коньсыры били их прикладами и топтали ногами. Морозы были пятидесятиградусные, а пленников везли на открытых нартах, скованных попарно. На остановках фельдшер ампутировал им обмороженные пальцы. С больных не снимали кандалов и не освобождали от побоев.

Марк слушал старуху, не смея перевести дух. Она прервала повествование и конфузливо сказала:

— Про дело-то я забыла! Пишите, молодой человек: последние осенние заморозки приходится на время с десятого по пятнадцатое сентября.

Марк записал и с самым серьезным видом объяснил, что его интересует вопрос о том, возможно ли огородинчество в станке Верхне-Инбатском.

— Возможно, возможно! — закричала старуха, залепкивая остренькое морщинистое лицо. Оказалось, что весной этого года она организо-

вала женскую огородную артель. На днях они будут рыть картошку, причем урожай предвидится хороший. Она вела записи сроков посева.

Дойдя до записей за июнь, старуха горестно вздохнула и вполголоса проговорила:

— А здесь я маленько напутала, потому что в ту пору у меня старичок помер и я, по слабости своей, от дел отбилась.

Марку стало хорошо от деятельной этой прусты. Старуха толковала о том, что енисейских надо приучить к огородничеству, так как здесь наблюдается избыток свободного женского труда, а питается население чрезвычайно однообразно.

— К здешней-то рыбе да овощ — какой бы стол был, молодой человек! — говорила старуха, глядя на Марку поверх провисших стекол пенсне. Марк соглашался и, как заправский специалист, заговорил о скопцах, которые выращивали в якутской ссылке не только картофель, но даже и огурцы.

Пароходный гудок прервал беседу. Марк сунул в карман блокнот и почтительно раскланялся со старухой. Она проводила его до крыльца и здесь на прощанье сказала, что на будущее лето артель непременно займется огурцами.

Марк еще раз поклонился старухе и торопливо зашагал по косогору.

Население парохода спокойно бродило по берегу. Охотники прогуливали собак, кинематографисты собирали камешки, рыбаки боролись, разминая косточки. Марк спустился вниз и оглянулся, чтобы еще раз увидеть станцию. Старушечий дом стоял над снью Енисея, весь пронизанный предвечерним светом. Марк вдруг поду-

мал, что он мог бы прожить с Цельной всю жизнь, как прожили эти старик со старухой. Ему вспомнилось прекрасное начало сказки, и он с легкой печалью шепнул: «Жили-были старик со старухой у самого синего моря».

1937 — 1938 г.

## ДОМ С ДЕРЕВЯННОЙ БАШНЕЙ

### I

Зверовод спал в башне. Тонкая перегородка и узкая лесенка отделяли его от той комнаты, в которой спала женщина. Он проснулся от ее стоны и встревоженно приподнялся.

Внизу все стихло, — он слышал только гудение ветра и треск ссыхающегося дерева. Оперев локоть о подушку, он лежал и сокрушенно думал о правленцах: больше года он просил помощника, и вот они послали городскую фитюльку. «Практикант-зверовод», — так называют они ее в своей бумаге, а что такое практикант — они, конечно, и сами не знают. В письме, которое привезла эта пичужка, Ивапов из подотдела зверопитомников услужливо сообщает, что она кончила два курса лесного факультета. Лесной факультет — это хорошо, но она, конечно, не видела леса или видела его только на даче.

Нет он не такой послушный, как они полагают, и — они получают ее обратно. Они получают ее с последним пароходом, который пойдет через неделю. Он уж позаботится о том, чтобы она убралась со своими чемоданами, а препроводительную он напишет не хуже правленских секретарей.

Но о чем они все-таки думали, когда выдавали ей назначения? Ну, что она может делать в питомнике? О чем она может говорить с тунгусом Николаем? Или с его женой, которая знает по-русски не больше двадцати слов? И потом, как она будет жить здесь зимой, без театров, без друзей, без писем от мамы и папы?

Нет, правленцы получают ее обратно, непременно получают. Худо только то, что ему вовсе расхотелось спать, а завтра надо пораньше подняться, чтобы припустить Смелого к самке Зюлке. В прошлый раз Смелый не имел успеха и только получил укусы. Сколько пометов было у Зюлки? Три... Нет, не три, а четыре. Да, четыре помета и семнадцать щенков. Четыре помета... А сна как и не бывало.

Зверовод стал шаривать на табурете трубку, но женщина вдруг ударилась о перегородку и произнесла негромко, но очень отчетливо:

— Фуфа!

«Уж не больна ли она? — озабоченно подумал зверовод. — Вот еще напасть!»

Он спустил ноги с кровати, натянул брюки, надел туфли и на цыпочках стал спускаться по скрипучей лестнице.

У перегородки он в нерешительности остановился — постучать или не постучать? А что, если она не больна? Она ведь чорт знает что может подумать.

Он слушал затрудненное дыхание женщины и несколько раз поднимал и отдергивал руку. Нет, она здорова, ей просто плохо спится на незнакомом месте. А может быть, она все-таки больна?

Он стоял и терзался сомнениями. За перегородкой стало тихо. Женщина, должно быть, просну-

лась и затанла дыхание. Может быть, ее разбудили шаги? Ну, что же, он пойдет и выпустит Хорчика: пусть она увидит, что он спустился по делу.

Стараясь не скрипеть половицами, зверовод прошел в кухню. Хорчик услышал его шаги и стал царапаться в сених. Зверовод открыл дверь, шпичеобразный пес вбежал в комнату и белым дымком заметелился по полу. Он наклонился и почесал у пса за ушами. Хорчик лизнул ему руку и свернулся клубком.

Зверовод шепнул:

— Спать! Спать!

Хорчик вскинулся и застучал коготками. Он пошел вслед за собакой.

— Который час? — спросила вдруг женщина.

Он весь облился жаром и не сразу ответил:

— Должно быть, два.

Голос его не дрогнул, хотя, быть может, прозвучал излишне резковато.

Она поблагодарила его. В доме опять стало тихо.

Он поднялся в башню. Хорчик уже лежал на своем месте у изголовья кровати. Не отрывая морды от лап, псес стукнул хвостом. Зверовод еще раз потрепал пса и неторопливо начал раздеваться. Городская пичужка больше не стонала и не металась за перегородкой, но сон его был окончательно сломлен. Он раскурил трубку, лег и стал думать о приезде.

Сколько ей может быть лет — двадцать или двадцать два? Имя у псес хорошее — Анна, — твердое имя, а вот лоб не хорош. Он слишком велик и слишком тяжел для ее тонкого, скуластенького личика. И зубы некрасивые, они не-

сколько выдаются вперед, и рот от этого кажется вздутым, как у негритоски. Хороши у нее, пожалуй, только глаза, большие и открытые.— Но в них есть какая-то странная отчужденность. Такие глаза бывают у людей, перенесших тяжкую болезнь или большое горе. В общем она милостива, только очень худа. Как жалобно торчала ее плечи, когда она стояла на кухне со своими чемоданами. А впрочем, бог с ней,— через неделю ее не будет в питомнике.

Зверовод выколотил золу из трубки и закрыл глаза. Он сосчитал до ста и начал уже задремывать, но ему вспомнилось слово, которое произнесла женщина, и он стал думать, что это слово означает. Он сердился на себя и все-таки не мог уснуть. «Разбудила, а сама теперь, поди, спит»,— укорял он себя, и это раздражало его еще больше...

...Женщина между тем не спала. Она лежала, уткнув лицо в подушку, и беззвучно плакала. Пять тысяч верст отделили ее от прошлого, но прошлое преследовало с ней сюда. Все тот же сон томил и разрывал ей сердце. Со слезницей яркостью, какая возможна только в бреду, она опять увидела окровавленные лохмотья гаты, прилипшие к подрезанным ветвям акаций. Больница стояла за деревьями, как большая и серая тюрьма. Он вышел, или нет, он выплыл из-за голого куста и улыбнулся ей румяным своим ртом. Он стоял перед ней, большой и сильный, и, улыбаясь, говорил, что вот она избавилась, наконец, от фуфы. Это слово, круглое и отвратительное, наполнило ее ненавистью. Он говорил о фуфе, и она почему-то видела пузырь,— белый и полый внутри. Как посмел он сказать такое о нестер-

прых муках этих четырех дней в ночей! Она смотрела на него и задыхалась от ненависти. Она ненавидела ямочки на его щеках и все его красивое лицо, и самый его голос избалованного певца-любителя. Эта ненависть страшила ее, но она с беспощадной ясностью видела, что он чужой, совсем и непоправимо чужой. Нет, не надо думать о нем, не надо думать!

Завтра она примется за работу. Здешний зверовод, кажется, недоволен ее приездом. У него, между прочим, смешная шея — длинная и тонкая. Но это неважно, надо только потребовать, чтобы он определил ее обязанности. Еще надо спросить, ходит ли сюда почта. Нет, об этом спрашивать не надо. Хорошо бы заснуть, позабыть все и проснуться новым человеком. А письма ей не нужны, совсем не нужны. Завтра она примется за работу: зверовод считает ее белоручкой, она скажет ему, как работает белоручка. Нет, ей будет хорошо. Дсм построен недавно, и бревна еще свежо и чисто пахнут. Здесь будет хорошо, — завтра она займется комнатой. Кровать надо передвинуть воп к той стене, а стол можно поставить к окну. Платья перемялись в чемодане, придется их перегладить. Но есть ли у этого чудака уют? Впрочем, все это решится завтра. А сейчас надо спать, спать, спать.

И что еще надо? Надо проснуться другим человеком. Ну что же — у нее есть время, договор ведь подписан на два года. Как хорошо пахнут бревна! Да, у нее два года впереди, и она станет другим человеком, совсем, совсем другим...

Утром она вышла на крыльцо. День ее начался неудачно: она проснулась поздно и не успела спросить звероведа о своих обязанностях. Растерянная и недовольная собой, она обдумывала дальнейший план действий. Она была уверена, что зверовод нарочно дал ей проспать. Впрочем, он ведь не обязан ее будить.

Надо было что-то предпринять. Она искала звероведа, но его не было и на улице. Дом стоял, молчаливый и беловато-желтый. Практикантка смотрела на него и старалась вспомнить, где она видела такую же разделку карнизов. Неожиданное открытие потрясло ее. Дом в точности повторял типовую контору лесничества, которую она вычертила на своем институтском проекте. Скат крыши, расположение окон и даже переплет рам полностью сходились с проектом. Мезонин, которым она украсила лесничество, был несколько ниже башни, но архитектурный силуэт мезонина в точности воспроизводил башню. Вчера она не заметила этого, потому что приехала в сумерки. Но совпадение с проектом было слишком явное, чтобы не увидеть этого днем.

Она не могла понять, как произошло это чудо. Можно было подумать, что строители питомника осуществили ее проект. Даже шпиги, торчавшие под окнами, были такие, какие она нарисовала на учебном ватмане. Местность также была схожая: ее контора стояла на таком же вот пригорке, недавно освобожденном от леса.

Но было на ее проекте только сетчатой короны питомника, которая увенчивала здешний пригорок. Проволочные сетки были высотой в три

человеческих роста. Они с четырех сторон ограничивали пространство питомника, разделенное проволочным коридором. Позади питомника, там, где одиноко высилась сосна, виднелись серый корпус чума и маленькая новая избушка. Лес вокруг была вырублен. Из него, наверное, построили этот дом и вытесали эти столбы, поддерживающие проволочные стены. Из обрубков дерева собрана та вон дверь, которая закрывает вход в коридор. По обе стороны коридора, в просторных вольерах стоят будки, похожие на ульи. В будках обитают звери, и с ними ей надо прожить два года.

Практикантка решительно сошла с крыльца, пересекла внутренний двор и остановилась против коридора. Именно в этот момент сквозь брусчатый переплет двери она увидела зверовода. Он сидел в самом конце коридора, неприметный на фоне бурой травы в своей бекеше солдатского сукна. Белый пес терся о его сапоги.

Она открыла дверь и зашагала по коридору. Темносерые песцы и рыжеватые лисички стояли у проволочных жалюзинок. Она старалась не смотреть на зверей, чтобы не испугать их.

Когда она приблизилась к звероводу, пес тихонько зарычал, и зверовод обернулся. Она увидела в руках у него блюдо.

— З-з-завтракали? — заикаясь, спросил он.

Она ответила, что еще не завтракала, потому что прежде всего ей надо знать свои обязанности.

— Напрасно! — сказал он, придерживав рванувшегося пса. — Вам здесь делать нечего. — Заметив, как побледнело ее лицо, он быстро под-

нялся и скороговоркой добавил: — То есть я хочу сказать: в данное время делать нечего. Нужно, чтобы звери к вам привыкли и чтобы вы привыкли к зверям.

Она ничего не сказала. Он конфузливо улыбнулся и, сопровождаемый собакой, пошел к угловому вольеру. Песец за проволокой, неуклюже волоча большой стелющийся хвост, метнулся навстречу. Зверовод открыл калиточку, достал из блюда два темных квадратика и кинул их песцу. Зверь начал грызть квадратик. Зверовод закрыл калиточку и пошел к противоположному вольеру.

Так, сопровождаемый собакой, он зигзагами стал двигаться по коридору. Звери при его приближении усиленно металась, и он успокаивал их, бросая им квадратик. Практикантка шла на расстоянии, но она успела рассмотреть, что квадратик был припиками, облитыми жженным сахаром.

Дойдя до двери, зверовод, вдруг поднял блюдо и негромко крикнул. Практикантка только теперь заметила лисицу, которая бегала по легким перекрытиям, соединявшим клетки. Лисица кинулась на крик, и зверовод еще выше поднял блюдо. Лисица остановилась, потом попробовала спуститься, но только оборвалась и опять стала карабкаться на перекрытия.

Зверовод поставил блюдо на песок и строго сказал:

— Пускай побегает, а мы пойдем завтракать.

Открыв дверь, он выпустил сначала практикантку, а потом собаку. Практикантка пошла по двору, усталая и разбитая. В этот момент она еще не знала, что ей на всю жизнь запомнится

это блеклое утро и рыжая лисичка, повисшая на перекладинах над головой сутуловатого и нескладного человека.

### III

Когда самовар зашумел на весь дом, практикантка вышла из своей комнаты с помятым и стареньким чайником. Зверовод в это время накрывал стол в лаборатории. Он не пожалел единственной скатерти, но хлопоты его ни к чему не привели: практикантка набрала в чайник кипятку и сразу ушла к себе. Зверовод понял, что она сердится. Он действительно допустил неложность, сказав, что ей здесь нечего делать, но объясняться с ней все-таки не стоило, потому что он наговорил бы еще большую чепуху: так уж у него всякий раз получалось. А все это от проклятой его застенчивости и от непривычки быть на людях!

Вяло и без всякого удовольствия зверовод съел несколько сельдюшек и отправился наверх. Здесь он каждое утро записывал наблюдения. Журнал наблюдений, называемый также звериным кондуитом, лежал на подоконнике, раскрытый на вчерашнем числе. Зверовод обозначил новое число и начал уже запись о прилуске Смелого, но снизу донесся шум, и он стал прислушиваться. Практикантка, судя по звуку, передвигала кровать. Надо было бы помочь ей, но он никогда бы не решился предложить свои услуги. Она топотала каблучками и не прекращала суеты. Вот он проволочка стол. Значит, она остается здесь? Ну, что же, пусть остается. Вечером ее необходимо пригласить к столу. Ка-

жется, у него еще есть сыр и немного конфет. Если бы Николай успел приехать к ночи! Нет, он совсем распустил этого увальня. Из-за него, в сущности, начались все неудобства: ему ведь было поручено выйти к пароходу, а он туда и носа не показал. Хорошо, что на пристани подвернулся лодочник, а то бы она до сих пор сидела на своих чемоданах. Конечно, она в праве считать, что к ней отнеслись по-свински. А тут еще фразочка, которую он брякнул в питомнике!

Зверовод болезненно сморщился: нет, надо с ней объясниться. Не может же она знать, что Николай — один человек в питомнике и совсем другой — в городе. Вот и теперь: он ходит, должно быть, по гостям, а о корме для зверей, который нужно было привезти еще вчера, даже и не вспомнит. На беду эта трещетка Ивуль за ним увязалась, а ее из гостей не выгонишь и палкой. Вот и получилось, что Николай и практикантку не встретил и питомник оставил без корма. На сегодня, положим, корма хватит, а вот завтра рационы будут исполнены.

Зверовод захлопнул журнал и досадливо отодвинул его в сторону. Ну, что же, он одичал в питомнике и научился говорить с людьми, но надо все-таки сделать усилие и обязательно объяснить с практиканткой. Вечером она выйдет к чаю, и он ей все скажет. Но может случиться так, что она опять наберет кипятку и скроется в своем помещении? Нет, он этого не допустит, только бы Николай скорее приехал со своей трещеткой Ивуль: при них он не будет так робеть и стесняться. Кроме того, они должны привезти хлеба, баранов, колбас. А сахар, — приказал им

он купить сахару? Впрочем, о сахаре позаботится Ивуть, она ведь так его любит.

Но практикантка что-то затихла. Может быть, она спит? Надо предложить ей олений коврик, пусть прибьет над кроватью. Только не сейчас, конечно, а потом, когда проснется. Скорее бы приехал Николай. И о чем он только думает со своей трещеткой, которая готова хоть целый год таскаться по гостям?

Надо все-таки устроить ему разнос, непременно надо устроить...

#### IV

Тунгус и его жена вернулись под вечер. Когда, сопровождаемые Хорчиком, они свалились в кухню, зверовод возился с самоваром. У супругов были сконфуженные и даже испуганные лица, однако зверовода это не разжалобило.

Но Николаю везло в таких случаях. Хорчик обрадовался его появлению, — прыгая по кухне, пес уронил самоварную трубу, шум вызвал появление практикантки, и звероводу пришлось заняться представлением четы. Чета мгновенно воспрянула духом.

Маленькая Ивуть, тяжело неся свой высокий живот, первая подошла к практикантке и горланно протрещала:

— Здрастывуй!

Николай ухмыльнулся в реденькие усы и важно повторил:

— Здрастывуй!

Разнос пришлось отставить. Практикантка пожала уэкую ладошку жены и жесткую ручищу мужа. Зверовод пригласил всех в столовую, вре-

менпо устроенную в лаборатория. Ивуль ничего не забыла, и ужин удался шаславу.

Когда все население питомника разместилось за столом, ломившимся от изобилия колбас, ба-ранок и сахара, зверовод пустился в рассказы о здешнем житье-бытье. Он говорил о зверях и о том, какие это трудные и своенравные суще-ства.

— Возьмите Злюку, к примеру, — говорил он, прихлебывая горячий чай. — Она ко мне щенком поступила, и я думал, что с ней возиться не придется, потому что она привыкла ко мне бы-стро и даже нищу стала из рук брать. Настоя-щий ее характер проявился, однако, после, когда она оценилась. Тут ее от человека будто отшиб-ло. Станешь к ней подходить, — она моментально заверещит: «Мррр-мррр-кхе-кхе!..» Щенки уле-петывают, а который замешкается и не сразу побежит, тому Злюка задает трешку. Одному щенку она даже шеею прокусила, когда тот не послушался ее. Вот какие у нас нравы, а к этому еще прибавьте, что у зверей, как и у людей, один характер совсем не похож на другой.

Зверовод стал называть своих питомцев по именам, как бы представляя их практикантке. Выходило так, что Костя ленив и добродушен, Ванька-Встанька игрив, а Смелый предприимчив, но очень глуп. Эти короткие характеристики имели целью убедить практикантку, что утрен-няя его фраза о привыкании к зверям была не так уж нелепа. Практикантка слушала внима-тельно и, как ему показалось, даже заинтересо-ванно. Он не сразу заметил, что эта заинтере-сованность относилась не столько к нему, сколь-ко к тупгусским супругам. Предпочтено, ока-

занное сторожу и его жене, было, впрочем, вполне естественным, потому что она впервые увидела эту чету.

Николай, как и полагается мужчине, сидел за столом с пидольской неподвижностью. Ивуль же суетилась, неутомимо грызла сахар и шумно схлебывала кипяток. Маленькое кукольное ее личико сияло от удовольствия. Если бы по чай, она давно бы встряла в разговор, и это было бы крайне некстати, потому что зверовод решил воспользоваться случаем, чтобы подготовить практикантку к ее будущей работе. Он говорил свободно и совершенно не затрудняясь. Как только он смолк, Ивуль вскинула на практикантку свои мышиные глазки и, изнемогая от любопытства, спросила:

— А твоя муж, однако, где?

Практикантка посмотрела прямо в разгоревшееся личико тунгуски (на острых скулах пятна румянца были особенно ярки) и не сразу ответила, что мужа у нее нет.

Ивуль сказала: «Ой-бой!» — и сочувственно зацокала языком. Зеровод смутился и, вынув из кармана часы, небрежно и как бы вскользь заметил, что время уже позднее. Кроме того, завтра всем придется заняться очисткой рыбы, которую привез Николай.

Тунгус понял приказ, скрытый в напоминании о завтрашней работе, и что-то проговорил жене. Через несколько минут чета, провожаемая Хорчиком, удалилась к себе.

...Практикантка не стонала в эту ночь и не металась, но зверовод спал плохо. Просыпаясь, он думал о практикантке. Теперь он не называл ее фитюлькой и не собирался отсылать обратно.

Он думал о том, что помощник ему необходим. До сих пор болезни щадили его, но он ведь может заболеть, и питомник останется беспризорным. Кроме того, он ни разу не отдыхал за эти три года, и ему надо, в конце концов, съездить на курорт или, скажем, в Красноярск.

За год, при некотором прилежании, она освоит дело, и тогда у него будет замена. Перед мужичиной-практикантом у нее есть известные преимущества. Мужчина может, например, спиться здесь, а с ней этого не случится. И аккуратности у нее больше, нежели у мужчины, а это очень важно в звероводстве.

Она говорит, что у нее нет мужа. Это тоже хорошо, потому что ей не о ком тосковать. Но, может, у нее в городе остался воздыхатель.

Ну, что же, она ведь не зашьет от этого и не начнет тут колобродить. Старание к делу у нее есть: не случайно же то, что она первым делом спросила об обязанностях. А если он отошлет ее обратно, правленцы не скоро сыщут нового кандидата. Чудаков, которые согласились бы поехать в такую глушь, не так уж много. Значит, за нее надо держаться. У нее есть старание к делу, а это главное. И нечего ему больше думать и незачем терзать себя: надо сделать так, чтобы она осталась.

## V

И она осталась.

В тот день, когда они, все четверо,— или, если считать собаку, все пятеро,— стояли перед своим домом, глядя на плывущий внизу пароход, он опять усомнился в правильности своего решения.

Пароход шел медленно, белый и нарядный. Маленькие фигурки людей чернели на его палубах. С кормы доносились звуки гармошки. Там тоже толпились люди, некоторые из них плясали. Это были рыбаки, возвращающиеся с низовьев. Они радовались оксичашию трудового лета, а людям, оставшимся на берегу, казалось, — это ведь всегда так бывает, — что пароход уплывает в счастье. Река лежала внизу, неприветливая и сизая. Последний пароход уходил к югу, и все пространство, оставшееся позади него, казалось безжизненным. Последний пароход уходил к югу, а практикантки не было на его палубе. Она стояла, положив руку на плечо. Ивуль. Зверовод боялся поднять на нее глаза. Когда же он решился и нескоса глянул на нее, все его существо дрогнуло от жалости. Он подумал, что она упала бы, если бы не держалась за Ивуль: такое у нее в этот момент было лицо. Боясь, что волнение его шпрорвется наружу, зверовод тихо зашагал к дому. Через четверть часа он вернулся. Парохода уже не было видно, а женщины все еще стояли на пригорке. Он наклонился к Николаю — тот чистил у крыльца рыбу, — и что-то сказал ему. Потом он прошел мимо женщин и спустился к мосткам, около которых покачивалась лодка.

Вечером он вернулся в дом. С ним пришел маленький старик с желтым, иссохшим лицом гномика. Это был шаман Савоська. Зверовод съездил за ним на тот берег, в надежде, что шаман развлечет практикантку.

Но она и не думала грустить. Она сидела в лаборатории и переписывала ведомость. Эту ведомость он дал ей сам, — ее прилежанне. так

же, как и ее спокойствие, окончательно победили зверовода. Стараясь рассмешить ее, он представил Савоську, сказав, что это единственный их сосед и что он явился засвидетельствовать свое почтение. Она приняла шутку и улыбнулась. Это была первая улыбка со времени ее появления в питомнике. У зверовода от радости заколотилось сердце.

Торопливо пообедав, он сходил за Николаем и его женой. Втроем они занялись приготовлениями к камланию. Николай разжег печку, Ивуль сходила в сени и принесла вещи шамана — бубен и гремящий железками костюм.

Савоська сидел на полу, безучастно глядя в одну точку. Когда дрова разгорелись, зверовод осторожно сказал, что гостю следовало бы немного пошаманить. Савоська посмотрел на него коричневыми немигающими глазками и недоверчиво спросил:

— А, однако, денег дашь?

Зверовод сказал, что для друга ему денег не жаль, но Савоська должен постараться, потому что Анна Павловна, — он показал на практикантку, — иногда не видела, как шаманят.

Савоська снял платок, поддерживающий его седые космы, и что-то сказал Николаю. Николай подал ему гремящий костюм. Савоська расправил костюм на вытянутых руках, и Анна при свете пылающей печи увидела, что это был широкий плащ, украшенный звериными хвостами и красными фигурками. Тем неуловимо легким движением, каким священники надевают ризу, Савоська нырнул в растрепанный плащ и легонько повел детскими плечиками. Потом он вынул черный платок и закрыл им голову. Николай подал же-

лезный круг, увенчанный оленьими рогами. Савоська надел круг на голову и несколько мгновений сидел неподвижно.

Николай поднял бубен и поднес его к огню. Все это проделывалось молча. Потом Николай засмеялся и, сказав: «Соблюдать пада», — ударил по бубну колотушкой. Нагретая кожа загудела, и Николай зашел.

Савоська отозвался речитативом, Когда он смолк, снова зашел Николай.

Так продолжалось минут пятнадцать.

Потом Савоська протянул коричневые туки, и Николай подал ему бубен. Шаман ударил в бубен и зашел рыдающим голосом, похожим на плач выли или на хохот филина. По временам он наклонял к бубну покрытую платком голову и на мгновение умолкал. Потом он снова бил в бубен и снова выкрикивал свой плач.

Так продолжалось еще минут пятнадцать.

Раскачиваясь и задыхаясь, шаман поднялся и встал против раскрытой печи. Он стоял на своих тонких ножках, одетых в замшевые чулки, — Анна со страхом ждала, что сейчас он рухнет. Но он все стоял и слегка покачивался. Неожиданно он с огромной силой ударил в бубен и закружился. Раскачивая бедрами и выбрасывая руку с колотушкой, он заскользил по комнате с увертливой легкостью зверя. Желзки зазвенели на нем, а меховые хвосты поднялись и поплыли.

Он кружился, и тень его, рогатая и большая, металась по стенам. Он кружился все быстрее. Анна боялась, что он налетит на петку и разобьется досмерти, но он увертывался от препятствий и усиливал кружение. Теперь звериные хвосты плыли совершенно прямо. Грохот бубна

рос, и черный платок развевался. В вихре проплывало лицо шамана, изжелта-бледное и дикое.

И вдруг вихрь кончился. Шаман упал на пол и уронил голову на поднятые колени. Было слышно, как он отплевывался под платком.

Потом он откинул платок и хрипло сказал:

— Будет бывает?

— Будет, будет! — сказал зверовод и подошел к Анне.

Шаман закрыл глаза, качнулся несколько раз, вскочил и опять стал кружиться.

— Зачем это он? — тревожно спросила Анна.

Зверовод прислушался к рыдающему бормотанию Савоськи и тихо стал объяснять:

— Просит извинения у духов. Просит духов не сердиться за то, что шаманил из интереса.

— Зачем же вы его мучаете? — с упреком спросила Анна.

Зверовод смутился и негромко сказал:

— Хватит, старик, хватит!

Савоська остановился, тяжело дыша.

Зверовод помог ему снять костюм. Шаман потребовал, чтобы все облачение было вынесено в сени. Потом он сел на пол и мгновенно заснул.

Зрители некоторое время молчали. В темноте слышалось только гудение печи. Потом Ивуль сказала:

— Однако не худо шаманил!

## VI

Утром Анну разбудил голос шамана, визгливый и хриплый. Она проснулась с таким ощущением, будто ночью все переменялось. Стены, потолок, все предметы в ее комнате стали ины-

ми — светлыми и новыми. Она глянула в окно и увидела снег.

Первый снег! Там вот откуда взялось это чувство новизны и свежести. Она вскочила и стала одеваться.

Шаман бормотал за стенкой. Кажется, он благодарил зверовода и звал его в гости. Воспоминание о вчерашнем зрелище было неприятно. Но шаман ушел, хлопнув дверью, и она забыла о нем. Радость первого снега переполняла ее.

Она набросила шубу и вышла на крыльцо. Снег, голубой и чистый, покрывал проволочные стешки. Двор, питомник, лес — все сияло безизной и прохладой. Она сбегала с крыльца, и снег вкусно закрипел под ногами.

Зверовод стоял посреди питомника, улыбаясь светло и беззаботно. Увидев ее, он только сказал:

— Снежок-то, а?

Она ответно улыбнулась и подошла к нему.

Он успел уже раздать корм, но им не хотелось уходить с улицы, и они прошли по коридору, из конца в конец. Звери оживленно суетились, песцы на фоне снега не были такими безобразными, каким они казались на фоне травы. Анна сказала об этом звероводу. Он засмеялся и обрадованно проговорил:

— Ого! А вы подождите, какие они через месяц будут! Сейчас у них окраска осенняя, а вот зимой они наденут самые нарядные шубки, — вы от них глаз не оторвете.

Анна спросила, перебрался ли Николай с женой в баню. Зверовод ответил, что нет, не перебрался, потому что до наступления морозов они всегда живут в чуме. Анна возмутилась и стала

настаивать на немедленном переселении сторожа. Зверовод начал защищать Николая, привыкшего к жизни в чуме, но тут же спохватился и сконфуженно сказал, что она права, а он не учел бережливости Ивуль.

Анна спросила, почему не видно Хорчика. Зверовод объяснил, что Хорчик отправился с Николаем в город. Она вспомнила о Хорчике! Это значило, что она успела привязаться к собаке. И когда она выразила опасение, что Хорчик потеряется в городе, он только улыбнулся: нет, Хорчик, не мог потеряться, он вернулся бы домой даже в том случае, если б его увели за три сотни километров.

Так, разговаривая о разных делах, они вошли в дом.

Анна дней пять назад закрепила за собой право вести их общее хозяйство. Сняв шубу, она занялась приготовлением завтрака. Он поднялся к себе.

В башне в это утро было особенно светло. Вероятно, поэтому ему бросились в глаза банки с заэспиртованными глистами, стоявшие на подоконнике. Он убрал их и начал наводить порядок на столе.

Именно в этот момент внизу послышалась песня. Он застыл на месте, сжимая бутылку с клеем. Нет, ошибки не было: это она пела своим надтреснутым голоском. Улыбка тронула его лицо: «Поет,—подумал он,—значит, приживается».

## VII

И она прижилась.

Она стала необходимым человеком, и в доме, и в штомнике.

На попечении зверовода находилось девятнадцать лис и восемьдесят восемь песцов, — меньше чем в шесть недель она успела узнать не только клички, но и особенности характера каждого зверя. Первым она приручила к себе добродушного Костю, к концу же шестой недели ей покорились даже строптивая Злюка. Всего удивительней было то, что Николай сразу признал авторитет практикантки.

Ей удалось, например, сделать так, что тунгус усердно стал мыть доски, на которых производилась разделка рационов. Это более всего поразило зверовода, потому что сам он на протяжении двух с половиной лет вел борьбу за мытье досок и не имел никакого успеха.

Свободное от питомника время практикантка отдавала дому. Сначала ее деятельность сосредоточивалась на кухне. Два дня она чистила, мыла, скоблила бревна, и кухня превратилась в просторную светелочку. После этого она перешла в лабораторию. Она устроила полки для реактивов, а столик поставила так ловко, что все реактивы оказались под рукой. Обеденный стол она передвинула к печи, и звероводу пришлось перевешивать лампу.

Он принимал все ее новшества, хотя и считал их пустяками. Точнее, хотел считать пустяками, потому что втайне он полностью их одобрял. Она застелила стол скатертью и повесила занавески на окнах; в другом месте эти занавески были бы только обрывками коленкора, здесь же они свидетельствовали о том, что она привыкает и как бы прилепляется к дому.

Каждый день практикантка придумывала новые и новые усовершенствования. Пустой ящик она

превратила в посудный шкаф, а из старого одеяла сшила мягкие сидения. Кончилось все тем, что жестяной круг лампы украсился шелковой каемочкой. Когда, впервые после этих переделок в лампе загорелся огонек и густой желто-лимонный свет мягко полился на белую ска-терть, зверовод с удивлением отметил, что утрюмая и необжитая лаборатория превратилась в довольно уютную гостиную. С этих пор лаборатория сделалась их общей комнатой.

Теперь по вечерам он не забивался в башню, а предпочитал сидеть под ее усовершенствованной лампой. Он приносил с собой толстую книгу о фауне острова Кильдина. С приездом практикантки у него появился досуг, и он смог, наконец, разрезать эту книгу. Но чтение подвигалось медленно. Перелистывая страницы, он старался улучшить мнение, чтобы украдкой взглянуть на практикантку.

Она тоже приходила с книгой или с каким-нибудь рукоделем. Он особенно бывал доволен, когда она приносила вышивание. Узор, который она вышивала, был очень сложен, и она усаживалась так, чтобы свет падал сбоку. Кроме того, ей надо было подсчитывать крестики, и она часами сидела, не поднимая головы. Тогда он смотрел на нее, не боясь, что она перехватит его взгляд. Если же она отрывалась от работы, он, как пойманный школьник, склонялся над книгой и даже приставлял ладонь к глазам, будто защищаясь от света.

Обычно они сидели молча, а если иной раз обменивались замечаниями, то темой этих замечаний неизменно оставался питомник.

Иногда, покинув баню, в дом приходила тун-

гусская чета. Супруги снимали шубы,— к этому их приучила практикачка,— и осторожно усаживались у двери. Их приход не вносил заметных перемен в тихие вечера под лампой.

Зверовод знал превосходное определение какого-то путешественника, который назвал тунгусов «французами тайги». Николай не подходил под это определение, потому что обычным его состоянием была подольская неподвижность. Ивуль же среди француженок тайги могла бы сойти за парижанку, но в русской среде ее естественная живость не могла проявиться полностью по причине бедного запаса русских слов.

Ей нравился, например, узор, который вышивала практикачка, но она могла только восхищенно цокать языком. Когда же это занятие надоедало ей, она простодушно говорила:

— Чай пила да чего-то худо будет?

Это означало приблизительно следующее:

— Разве будет худо, если мы сядем пить чай?

Услышав это предложение, практикачка обычно откладывала работу и ласково говорила:

— Пойдем-ка, Ивушка, поставим самовар.

...Так проходили вечера в лаборатории, объединявшие за одним столом все население питомника...

## VIII

В первых числах ноября над питомником пролетел самолет. Появление его обозначило открытие зимней авиасвязи. Николай отправился в город со доверенностью на получение почты и в тот же вечер вернулся обратно, нагруженный газетами и связками пакетов.

Среди правленской корреспонденции зверовод обнаружил серенький конвертик, адресованный Анне.

Получив конвертик и мельком взглянув на адрес, Анна заметно побледнела и тут же ушла в свою комнату. Зеровод удивился ее испугу или ее волнению, но почта была здесь чрезвычайно редким и очень волнующим событием, и он, позабыв обо всем на свете, жадно шабросился на газеты.

По опыту он знал, что газетного чтения хватит не менее, чем на десять дней. В согласии с этим опытом, он начинал освоение большой газетной кипы торопливым просмотром заголовков. По необходимости глаз его останавливался только на самых крушных.

События, о которых повествовали газеты, произошли два месяца или месяц тому назад. Он только теперь узнавал о них, и получалось так, что свет большого мира доходил до него с опозданием, как свет звезд.

Только при таком чтении газет удавалось понять, как много событий может вместиться в два месяца. Сотни городов проходили перед ним, и в каждом городе совершалось нечто очень важное. Из Новосибирска сообщали, что близ города Старо-Кузнецка начата подготовка к строительству металлургического гиганта. Такой же гигант, только еще большего масштаба, воздвигался на Урале у горы Магнитной. На Днепре завершалось строительство огромной плотины. В степях Казахстана подходило к концу сооружение многоверстной магистрали. Шумная жизнь страны вставала в газетных заголовках,

в газетных фотографиях, в новых, неслыханных ранее словах — Уралмаш, Днепрогэс, Челябингэс Кемеровококкострой, Большие Березники.

Зверовод перелистывал газетные страницы и о удовлетворении думал, что они живут здесь тихо, но отнюдь не бесполезно. Питомник, разумеется, нельзя назвать гигантом, однако весной здесь появится полтораста слепышей. Значит, к началу будущего года государство получит полтораста взрослых песцов. Это, конечно, ничтожная цифра, но ведь их питомник — не единственный в стране. Да, питомников у государства много, и в каждом из них люди делают свое дело.

И вдруг смутное беспокойство стало томить зверовода. Он поднял голову и растерянно огляделся. Вещи стояли на своих местах и комната была такой же, как вчера, и в то же время не такой: практикантка не сидела на своем месте у печи. Значит, его это беспокоило?

Ну, что же, он ведь привык к ней и привык к тому, чтобы вечером она сидела, вот здесь, на этом стуле. Он привык к ней, как привык к Хорчику, к Злюке, к добродушному Косте. Все дело было в привычке. Если б завтра он вышел на улицу и Хорчик не встретил его у крыльца, у него было бы такое же точно чувство, то есть что ему чего-то недостает.

Растерянный и смущенный, зверовод подвинул к себе стопку пакетов и принялся разбирать корреспонденцию.

Анна взяла письмо с твердым решением уничтожить его, не читая. В ее комнате не было света. Это не могло помешать ей уничтожить письмо, но она почему-то стала искать спички.

И когда желтый огонек затеплился в лампе, она нетерпеливо надорвала конверт, извлекла четыре листка, исписанные прямым и крупным почерком, и в изнеможении опустилась на постель. Листки дрожали в ее руках, строчки прыгали. Он писал:

«Анна, милая, что ты наделала? Что наделали мы оба... Непонятно и дико, как я мог отпустить тебя! В последнем разговоре ты сказала страшно жестокие и страшно обидные слова. Когда ты уехала, я обдумал все, проанализировал все наши взаимоотношения и не нашел никакой вины за собой.

И вот теперь меня мучает сознание, что ты уехала, не скрывая ненависти ко мне. Как могло это случиться? Как могла ты забыть нашу практику по астрономии, и свадьбу в кабинете зоотехники, и нашу комнатную в колонии женатых? Помнишь, как мы украшали ее осенними листьями и...»

Она гневно выпрямилась и судорожно скомкала письмо. Нет, ничего она не забыла. Но если уж заниматься воспоминаниями, так надо вести их не от практики по астрономии, а от лаборатории качественного анализа. Он разобрал их взаимоотношения и, конечно, почувствовал свою правоту. Не было еще случая, чтобы он оставался неправ. И это письмо он написал только с той целью, чтобы по пунктам доказать, как не-

справедливо она с ним обошлась. Что ж, она должна теперь бежать в город и посылать пока-зную радиопрограмму?

Как все это глупо и мелко! И всего этого можно было бы избежать, если б только она доверилась правде первого впечатления. Да, первое, что она подметила в нем, была его ненатуральность, желание выставить себя напоказ. Именно таким, показным и наигранным, было его появление в лаборатории. Четыре девушки и двадцать шесть парней занимались анализом, и никто из них не превращал в событие свой приход на работу. Совсем иначе было обставлено его появление. Он театрально остановился в дверях и с какой-то нарочитой веселостью крикнул:

— Здорово, барбосы!

Группа сразу прекратила работу. Со всех сторон послышались крики:

— Юрка, где ты пропадал?

— Юрка, что ты делал?

— Юрка, почему бросил анализ?

Было ясно, что он занимает в группе положение «души общества». Тридцать человек смотрели на него с восторженным ожиданием, а он стоял на порожке и, — так подумала тогда Анна, — «откровенно выламывался». Он ждал паузы и, как только дождался ее, позвенел рассыпанными в кармане монетами и победительно крикнул:

— Слышали, барбосы?

Со всех сторон посыпались удивленные восклицания;

— Откуда это у тебя, Юрка?

— Где ты раздобыл деньги, Юрка?

Он опять дождался паузы, а потом, перекрывая шум газовых горелок, с торжеством объявил, что заработал кучу денег на разгрузке Карской экспедиции. Прокричав все это, он спустился с порожка и стал ходить между столами. Он вынимал из кармана конфеты и совал их направо и налево, снисходительно говоря при этом: — Утощайся, барбос! Пользуйся моей простотой!

Анна оп тоже сунул конфету, а когда заметил, что видит ее впервые, остановился и бесцеремонно спросил:

— Новенькая?

Анна, сделав вид, что не замечает конфетки, сухо объяснила, что ее ввели в их группу потому, что она не успела отработать анализ со своим курсом.

— Ну, ничего, будем кунаками! — снисходительно сказал он и, улыбаясь, опять протянул ей конфету.

Лицо его, со смеющимися глазами, стало таким простым и таким дружественным, что она вытерла мокрые от реактивов руки и охотно приняла дар. С тех пор к ней прилепилась кличка «Кунак». Она сердилась и запрещала называть себя кунаком, но это не помогало. Он всем придумывал клички. В группе был студент, которого все звали «Желтой Опасностью». Высокая, худая, бронзово-смуглая девушка носила кличку «Мумия». Студента Родионова переименовали в «Австралийского ученого Радимона». Был даже студент, который назывался Шимпанзешкой.

Никто не сердился на Юрия, потому что он был неистощимым на выдумки. Никогда ей не было так весело, как в эти недели, проведенные

в анализе. Они дурачились, как малыши, и без конца пели. Чаще всего они в тридцать голосов пели романс «Спокойно и просто мы встретились с вами». Это тоже была его выдумка.

Распевая «Спокойно и просто», они покинули лабораторию, когда отработали восемнадцать задач.

Ей не хотелось расставаться с группой, так она привыкла к Юрию, к Мумии, к Желтой Опасности. Она пожалела тогда, что Юрий учится на другом факультете. Это и было началом ошибки, изменившей всю ее жизнь.

## Х

Нет, она ничего не забыла. Она не забыла ни практики по астрономии, ни свадьбы, устроенной в кабинете зоотехники, ни комнаты в колонии женатых. Это он, Юрий, заставил Радимона утащить ключ от кабинета. Позже он признался, что ему хотелось сделать так, чтобы свадьба вышла пооригинальнее.

И он добился цели: что же может быть нелепее или, с его точки зрения, оригинальнее свадебного стола, покрытого простыней и окруженного целой выставкой сепараторов! Он, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не «обыграть» сепараторы. Букетов на столе было больше, чем бутылок, но он прикинулся пьяным и стал кричать, чтобы музыка гремела. Музыка не могла греметь, потому что ее не было. Тогда он стал стучать палкой по блестящим мискам сепараторов, производя страшнейший шум. Она рассердилась, и он грубо сострлил, сказав, что вот «начинается семейный купорос». Она рас-

сердилась еще больше. Тогда гости стали кричать «горько», и ей сделалось совсем нестерпимо.

К счастью, в это время появились опоздавшие Шимпанзешка и Желтая Опасность. Шимпанзешка принес ведро мелких и совершенно зеленых яблок; а Желтая Опасность приволок арбуз. Из самолюбия Юрий не прекратил бы шутовства, но появление друзей дало ему повод без потерь выйти из скандала. Как только он перестал выламываться, ей сделалось хорошо и весело.

Она не удержалась и сказала ему об всем. Он улыбнулся неподдельно и просто. Тогда она сама предложила им спеть. Радимон с надлежащей утрировкой запел «Спокойно и просто». Он остановил Радимона и затащив одну из старых деревенских песен, которые,— она говорила ему об этом,— так ей нравились.

Под вечер свадьба кончилась, и они пошли в колонию. В свое время семейные студенты самовольно захватили контору брошенного завода и устроили там общежитие. Завод находился в полутора километрах от института. Туда вела тропинка, пробитая семейными. Юрий назвал эту тропинку магистралью женатиков.

Они пошли по этой магистрали, прострочившей желтый кустарник. Друзья увязались за ними. Они волоклись позади, нагруженные чемоданами и связками книг. Получилось целое шествие, смешное и пелопое.

В таком виде они ввалились в колонию. Женатые жили тесно. Студентки озабоченно сновали в коридоре, с корытцами и ведрами. Юрий обратился к ним с маленькой речью, в которой попросил их оказать покровительство новым же-

натикам. Студентки выслушали его хмуро и ничего не сказали.

Он не смутился и с торжеством открыл дверь отведенной им комнаты.

Комната была так мала, что в ней мог поместиться только стол со стулом да еще топчан. Она знала, как трудно было Юрию отвоевать это помещение, и все-таки не смогла скрыть своей оторченности при виде низеньких стен, облупленных и темных. Юрий заметил впечатление, произведенное комнатой, и что-то шепнул друзьям. Они сложили пошу и молчаливо удалились.

Тогда он обнял ее и подвел к окну.

Прямо перед окном простиралось озеро, поросшее осокой и по-осеннему неяркое. На противоположном берегу озера возвышались корпуса завода, по эту же сторону из синей воды торчал остов землечерпалки. Юрий сказал, что они будут звать ее Земой. Она поняла, что он говорил о землечерпалке. Чуть подумав, он поправился:

— Будем звать ее тетя Зема.

Она хотела сказать, что он несправим, но в коридоре послышался шорох. Юрий метнулся от окна, открыл дверь и посторонился. В коридоре с охапками осенних ветвей стояли Радимон, Желтая Опасность и Мумня. Он сказал им, что они орлы, и побежал по коридору. Было слышно, как он шумел на кухне. Потом он вернулся с молотком и с помощью Радимона и Мумни стал развешивать ветви. Ветвей было так много, что стены совершенно скрылись под желтыми и багряными листьями. На полу осталась целая охапка, и Юрий предложил задрапировать вет-

вями единственное их окно. Она сказала, что для окна у нее есть занавеска. Юрий пустился в спор, но в комнату вошел Шимпанзешка, и спор оборвался.

Шимпанзешка восторжествовал над всеми, потому что в руках у него были не листья, а гроздь рябины, тяжелая, большая. Поднося ей рябину, он попробовал изобразить сценический поклон, но у него получился такой забавный выроч, что все расхохотались. Она одна оценила старание Шимпанзешки и, растроганная, поцеловала его в щеку.

Мумия взяла рябину и прикрепил ее над топчаном. Потом Мумия вытолкала гостей и вышла сама. Из окна они видели, как гости пошли по магистрали женатых.

Юрий дал им отойти, а потом выскочил из комнаты и, нагнав их, перецеловал всех — от Мумии до Шимпанзешки.

Ночью она проснулась от шороха. Он сказал: «Прости, это я задел ветку!» Она спросила, почему он не спит. Он сказал, что смотрит на нее и что она маленькая и слабая и нужно сделать так, чтоб она была счастлива. Она нашла в темноте его руку и прижалась к ней щекой.

Некоторое время они молчали. Потом в конце коридора послышался плач ребенка. Прямо над ее лицом мягко блеснули его глаза. Он наклонился и чуть слышно шепнул: «Только бы у нас не было этой фuffy!»

Она засмеялась. А весной, когда она вышла из больницы, он произнес это же слово, и оно показалось ей белым и отвратительным. Он не мог, он не должен был говорить ей это.

А теперь он лижет, что не знает за собой

вины. Бедный, бедный! — она его обидела, и он ждет утешенья. Нет уж, пусть его Мумия утешает. Очень возможно, что Мумия переселилась к нему и они украсили комнату осенними листьями. Интересно, что он говорит ей, когда она просыпается от шороха листьев? Наверное, говорит, что она маленькая и слабая. Шимпанзешка, наверное, принес им не одну гроздь, а целый куст: он ведь знает, где растет рябина. Ну и что ж, пусть они развешивают рябину: ее это не касается...

...Она разгладила смятое письмо, немного помедлила и вдруг стала рвать его вдоль и поперек, сердито и тихо шепча:

— Не надо мне вашей рябины, не надо мне вашей рябины...

## XI

Зверовод еще затемно вышел на улицу. Ночь прошла беспокойно, он спал мало и от этого чувствовал себя разбитым. Несмотря на теплый полушубок и оленьи унты, ему было холодно, и он невольно втягивал голову в плечи.

Держа в одной руке корытце, а в другой фонарь «летучая мышь», зверовод стоял на крыльце и озабоченно думал о практикантке. Вчера он допоздна засиделся с газетами, а она так и не появилась в лаборатории. Письмо, полученное ею, было, наверное, огорчительное, потому что ночью он услышал ее всхлипыванья.

Все это не предвещало добра. Он, конечно, сделал ошибку, не предупредив ее, что грусть по здешним местам опасна для здоровья. Теперь говорить на эту тему уже невозможно: при со-

здавшихся условиях такой разговор был бы просто щеделикатным.

Хуже всего то, что она может отойти от работы. Они живут по эту сторону Полярного круга, по новичок может оцынжать здесь так же легко, как и в Заполярье. Стоит только распустить себя и удариться в меланхолию — и все признаки цыгги будут палицо. Момент для печали она выбрала самый неподходящий: дни становятся все короче, а в декабре дни будут так коротки, что новичку и в добром состоянии нелегко с этим освоиться. Время наступает самое цыгговое, необходимо откровенно сказать ей об этом.

Зверовод сошел с крыльца и зашагал к питомнику.

Над сугробами стлалась серебряная поземка, из тайги доносился слитный гул, — день обещал быть ветреным.

Зябко поеживаясь, зверовод открыл дверь, ведущую в питомник. Звери давно уже привыкли к огню, — он повесил фонарь на крюк и начал раздавать корм. Подходя к вольеру, в котором помещалась Злюка, он услышал ее лай, похожий на кашель и на хриплое мурлыканье. Такие звуки Злюка издавала только тогда, когда около нее появлялись щенки. Он бросил корытце с рыбой и кинулся к вольеру. Злюка лежала со слепышами, при его приближении вся шерсть на ней поднялась. Он ласково сказал: «Тихо, милая, тихо!» — и опустился на корточки. Слепышей было четыре — и по виду они ничем не отличались от щенков обычного весеннего помета. Теперь надо позаботиться только о том, чтобы они сохранились. От бескормицы они не по-

гибнут, в этом он был уверен, но погода... Погода может подвести.

Погруженный в раздумье, зверовод не заметил, как появилась практикантка. Она еще издали спросила, что здесь произошло. Он вздрогнул, поднялся и шатнулся к ней. Она направлялась к вольеру, но он сказал: «Туда нельзя!» — и придержал ее за рукав.

Когда они отошли в сторону, он объяснил, что у Зюки — слепыши и что ее нельзя волновать. Она подумала, что слепыши — это род глистов. Значит, Зюка заболела? Поэтому у него такое взволнованное лицо.

Зверовод стоял, сморщив лоб и глядя в одну точку. Некоторое время они молчали. Потом он сказал:

— Главное — дует поземка, она всегда перед пургой дует, а если начнется пурга, слепыши могут померзнуть.

Только теперь она поняла, что Зюка ошенилась и что слепышами он называет щенков. Кажется, щенки действительно рождаются слепыми. Она хотела спросить об этом, но к ним подошел Николай, и зверовод стал говорить ему, что Зюка ошенилась и что слепыши могут померзнуть.

— Однако не померзнут, — сказал Николай. — Зюке корм есть, Зюка молоко-то дает, щенок живой будет.

— Ну, ладно, — решительно сказал зверовод, — будь что будет! Только мы примем меры: мы натаскаем Зюке мху, а она уж сама распорядится.

Они пошли за мохом, который хранился под крыльцом. Зверовод просунул в вольер три охал-

ки и осторожно удалился. Потом они выпестили все кормушки и при тусклом свете дня отправились завтракать.

Позавтракав, зверовод опять ушел в питомник. Практикантке он дал поручение навести порядок в чулане, в котором хранился корм. Он видел, что после бессонной ночи — ночь у нее, конечно, была бессонная — она вполне овладела собой. Но он не очень верил в это спокойствие и считал необходимым занять ее таким делом, после которого она почувствовала бы хорошую усталость и уснула бы крепко-накрепко.

Возвратясь из питомника, он услышал ее возню в чулане. Она сбрасывала на пол мерзлую рыбу и, судя по звуку, обметала полки. Он улыбнулся и подумал о том, что в Октябрьскую годовщину ее надо угостить строганиной.

## XII

В день или, точнее, в вечер Октябрьской годовщины все население питомника собралось в лабораторию.

Накануне Николай принес из города конфеты, баранки и колбасы, — все это угощение, излюбленное в здешних местах, грушировалось на столе вокруг бутылочки с разведенным спиртом. Изменяя идольскому своему спокойствию, Николай посматривал на бутылочку с нескрываемой жадностью. Ивуль — это было заметно — вполне разделяла его чувства.

По случаю праздника тунгусская чета оделась во все новое. На Николае была широченная рубашка, сшитая из байки, с цветами по подолу, Ивуль красовалась в платье лилово-оранжевого цвета. На животе платье топорщилось так, точ-

по оно было скроено из жести. Но самым неожиданным в ее costume было ожерелье из церковных крестиков. При малейшем движении крестики позвякивали, и лицо Ивуль, с яркими пятнами на скулах, светилось от удовольствия.

Зверовод, подстриженный, тщательно побритый, в новом черном costume, казался помолодевшим лет на десять. Только практикантка да еще Хорчик пришли на пиршество в обычном своем виде.

Анне многому пришлось удивляться в этот памятный для нее вечер.

Пригласив всех к столу, зверовод подошел к Ивуль и что-то шепнул ей, Ивуль засмеялась, зазвела своими крестиками и куда-то скрылась. Через несколько минут, переваливая тяжелый живот, она появилась в лаборатории с двумя осетрами в руках. Подойдя к столу, Ивуль бросила осетров прямо на скатерть: звук был такой, точно она уронила поленья. Тяжелые рыбины даже зашдевели, настолько они промерзли.

Анна спросила, что они собираются делать с мерзлыми осетрами.

Зверовод сказал: «Будем есть!» — и вынул треугольный нож. Такой же нож вынул Николай. Ивуль подвинула к ним осетров, и они быстро и ловко начали строгать белое и хрупкое мясо. Хорчик вертелся у ног Николая и на лету ловил стружку.

Когда перед мужчинами выросли два белых холмика, зверовод отложил нож и с некоторой торжественностью сказал:

— Ну, вот, и угостим вас по случаю праздника. Только перед этим надо вышить!

Он придвинул к себе бутылочку. Первую стопку он протянул Анне, но она отказалась.

Ивуль блеснула на мужа узенькими глазками и что-то произнесла по-тунгусски. Николай не совсем уверенно перевел:

— Баба говорит: ей надо дать!

— Нет, ей нельзя! — сказал зверовод и засмеялся своим курлыкающим смехом.

Ивуль не то обиделась, не то огорчилась. Зверовод наклонился к ней и добавил убеждающе и уже серьезно:

— От водки Кипительянчику худо будет, обязательно будет худо!

Анна поняла, что он говорит о беременности Ивуль, о ее мальчике, которого назовут Кипительянчик. Вся кровь прихлынула к ее лицу. Она наклонилась, будто для того, чтобы погладить Хорчика.

Хорчик грыз под столом осетровые головы.

Когда она выпрямилась, зверовод сказал:

— Ну что же, с праздником вас! — и удивленно поднял тонкую и красивую бровь.

Выпив, мужчины шабрали полные горсти строганины и начали есть. Ивуль тоже принялась за строганину. Мерзлое мясо хрустело, она запивала его чаем.

Анна встревожилась и сказала, что Ивуль, наверное, нельзя есть сырую рыбу.

— Нет, строганина-то полезный! — твердо возразил Николай.

Зверовод поддержал его.

— А вы попробуйте, не опасайтесь! — сказал он, показав глазами на рыбные стружки.

Анна боязливо взяла одну пластиночку. Мерзлое, тающее во рту мясо показалось ей вкус-

ным, но она все-таки не решилась взять вторую порцию. Зверовод сказал: «Ну, ничего, привыкнете!» — и опять наполнил стопки: свою и Николая. Как только стопки опустели, он отодвинул бутылку и сказал:

— Ну, хватит, теперь будем закусывать.

И они опять стали есть, прямо с ладони.

Анна почувствовала настоящее облегчение, когда кончилась строганина. От белых холмиков на скатерти остались пятна. Она торопливо прикрыла их тарелками. Заметив ее жест, зверовод засмеялся и сказал, что она, наверное, считает их дикарями, но что он готов всю жизнь ходить в дикарях, лишь бы ему давали строганину.

Начав так, он произнес целую речь в защиту строганины. Он говорил, что поедание сырой рыбы — это не блажь, а настоящая необходимость. Вначале он сам дивился этой пище, а потом понял, насколько она необходима в здешних местах, где очень мало овощей и совсем нет фруктов. Мерзлая рыба богата витаминами. Еще больше витаминов в оленьей крови. Поэтому тунгус, когда он зарежет оленя, непременно собирает кровь. Дети тунгусов пьют эту кровь с такой же охотой, с какой городские дети пьют, скажем, фруктовые соки. Ивуль, когда у нее родится ребенок, уже на шестом месяце даст ему оленьей крови.

Зверовод прервал свою речь и, обратись к Ивуль, ласково спросил:

— Как ты думаешь, Ивушка, Кпнтельянчику надо давать кровь?

Ивуль усмехнулась всем своим скуластеньким личиком и спокойно отозвалась:

— Однако, надо.

Николай, как эхо повторил: «Однако, надо!» — и, не сводя пристальных глаз с бутылки, уверенно добавил: «Оленья-то кровь, однако, полезный».

— Вот видите — полезный! — уже не спокойно, а с некоторой запальчивостью сказал зверовод. — Но откуда Николай это знает? Он знает это от своего отца. Отец же воспринял знание от деда. Вот и получается так: тунгус разорвет оленю сонную артерию и жадно пьет теплую кровь, городской человек посмотрит на него и подумает: «Дикарь!» А это вовсе и неверно. Я бы сказал, — не дикарство, а своеобразная, ну, культура, что ли. Сознательно или бессознательно, народ сам нашел в природе то, что спасло его от медленного вырождения. И вообще, все это не так просто. Пойдите, например, в чум, в котором Николай сейчас не живет. Вы увидите, что остов чума сложен из двадцати восьми шестов. И в какой бы чум вы ни вошли, в богатый ли, в бедный ли, вы всегда насчитаете двадцать восемь. и только двадцать восемь, шестов. Почему это? Должно быть, за долгую жизнь народ установил, что целесообразнее всего строить чум именно из этого количества шестов. Значит, это как-то вошло в знание народа. Народ добыл это знание опытом, и оно вошло в его культуру так же, как употребление в пищу оленьей крови и строганины.

Анна с удивлением смотрела на зверовода: оказывается, он не так прост. У него есть какое-то свое отношение к миру, есть свои мысли, есть свое понимание природы. Во всяком случае, он умеет говорить не только о том, как спа-

сти зверей от отлнстления, но и о более сложных вещах. Соображения его о тунгусах, может быть, и не верны, но в них, несомненно, есть известная последовательность. Он противопоставляет цивилизацию культуре, и у него получается так, что тунгусы имеют свою культуру, сложную и древнюю.

Анна не могла понять, что сделалось с этим человеком. Его смуглое лицо будто осветилось и стало совсем молодым. Обычная хмурость исчезла, он даже улыбался. При этом он смешно наморщивал лоб, а глаза его суживались так, что видны были только зрачки, расширенные от волнения, а может быть, от спирта. Они ярко поблескивали, и Анна только теперь заметила, что ресницы у него длинные и загнутые кверху.

Неожиданно она подумала, что ей бы следовало надеть шелковое платье, потому что будничнй ее вид нарушает общее ощущение праздника. А что сейчас делается в институте? Нет, об этом не надо думать. Она до боли сжала руки и выпрямилась. Зверовод что-то говорил ей. Она обернулась и в замешательстве произнесла:

— Простите! Что вы сказали? Я прослушала.

— Я говорю: вам, наверно, скучно вот так встречать праздник,— повторил зверовод.

Анна торопливо возразила, что ей, напротив, очень хорошо.

— Нет, это вы так, из вежливости говорите,— сказал зверовод и, вскинув на нее длинные девические ресницы, невесело добавил: — Я все это пережил, когда мне пришлось первую зиму здесь, на Севере, зимовать. В обычные дни скучать некогда было, а как наступит праздник,

сразу чувствуешь себя спротою и будто все тебя забыли и ты один на свете. Это я все испытал,— тем более, что первую-то зиму мне пришлось прожить в низовьях Енисея, в фактории Полигус. Мы там втроем жили. Здесь нас четверо, но под боком у нас все-таки находится город, а там на десятки верст крутом тянется совершенно безлюдная тундра. С непривычки это прямо жутким кажется. А тут еще круглые сутки ночь стоит, и с этим тоже надо осваиваться.

Анна плохо слушала зверовода, потому что воспоминания об институте одолевали ее. Когда же он умолял, она попросила его рассказать о фактории. Он поднялся и, сказав, что раньше ему надо навестить Злюку, отправился на кухню. Было слышно, как он одевался и гремел фонарем.

Тунгусские супруги тоже пошли одеваться. За ними, стуча коготками, побежал Хорчик. Анна принялась убирать со стола.

### XIII

Когда зверовод вернулся, самовар и посуда были уже убраны, и Анна стояла у печки, прижимаясь спиной к нагретым кирпичам. В ее опущенных руках и во всей ее позе было столько печали, что зверовод жалостливо подумал: «Тоскует!» — и осторожно прошел к своему стулу. Анна обернулась к нему бледным широконым лицом и, выходя из забытья, рассеянно спросила, как дела у Злюки.

— Злюка в порядке, — сказал Зверовод. — А вот вы, кажется, сильно утомились.

— Нет, я несколько не утомилась, — возразила

Анна и напомнила, что он обещал рассказать о фактории.

Зверовод потёр покрасневшие на морозе щеки и нерешительно начал:

— Что же рассказывать-то? Ну, жили мы втроем, я, мой приятель Рудницкий и его жена. Я считался приемщиком пушнины, Рудницкий заведывал факторией, а жена его была так, по хозяйству. Фактория стояла на пригорке, на самом юру, и через это тепло у нас не держалось. При фактории был амбар, в котором мы хранили товары, а также пушнину. В жилом доме имелось две комнаты и кухня. В одной комнате жил Рудницкий с женой, другая считалась въезжей, то есть она отводилась под ночлег самоедам, которых мы обслуживали. Только самоеды редко у нас ночевали. Обычно бывало так, что они съедут пушнину, напьются на кухне чаю и едут домой. Их ничто не может остановить — ни ночь, ни шурга; от этого и получилось, что въезжая всегда пустовала. Я спал во въезжей, а большей частью находился у Рудницких.

Жили мы так: с утра у нас работа в фактории, то есть не с утра, конечно, а с того часа, который соответствует утру. Стало быть, в условный утренний час мы начинали работу. Иной раз наезжали самоеды. Если же самоедов не было, нам приходилось сортировать принятую пушнину или же вести отчетность.

Когда работа кончалась, мы шли обедать, а после обеда тут же, у стола, принимались за свои занятия. Рудницкий в ту зиму писал сочинение об оленеводстве. Он оленеводство хорошо изучил, и у него большое было желание изложить свои материалы на бумаге. Он, знаете,

определил, что оленей в Советском Союзе имеется два с половиной миллиона, а по площади пастбищ должно быть двадцать миллионов. С другой стороны, он пришел к убеждению, что Север можно освоить полностью только при таком поголовье оленей. У него был целый ряд проектов, связанных с этим делом. Он, например, высчитал, что при таком поголовье не только для летчиков, но и для всей нашей армии можно было бы пошить зимнюю одежду из оленьих мехов. Его особенно привлекало то, что оленьи меха не пробиваются морозом и к тому же легки по весу. Потом он высчитал, что на базе оленеводства можно построить несколько новых производств, и в том числе десятки заводов для выделки замши.

Чем больше он этим занимался, тем больше усложнялось его сочинение. А я не меньше его увлекался рисованием: И вот у нас получилось, что мы сидели друг против друга и портили бумагу. Жена же Рудницкого, по большей части, спала. Мы, бывало, досидимся до того, что у нас чернила вымерзнут и чернильницах. Тогда мы о ней вспомним.

Сонливость — признак плохой. мы боялись, что наша дама оцыижает. И вот мы стаскивали ее с постели, насильно одевали и волокли на улицу. На улице устраивали катанье с горки. Нашей даме волей-неволей приходилось двигаться. Благодаря этому она и обернулась от цыгги. А потом сплошная ночь кончилась и взошло солнце. Для меня самым счастливым событием в ту зиму было первое появление солнца. Я даже, кажется, сохранил рисунок на эту тему. Если хотите, я его могу отыскать.

Анна совершенно непритворно пожелала посмотреть рисунок. Зверовод поднялся к себе в башню. Было слышно, как он открывал и закрывал ящики.

Потом он спустился, держа в руках ученический альбом. Альбом был открыт на акварели, изображающей восход солнца. Анну поразило огромное пространство тундры, на котором так малы и так бесконечно одиноки были фигуры трех людей. Фигуры были нарисованы так, что Анна видела только их спины. Но в этих наклоненных спинах было столько движения, что люди, казалось, бежали навстречу поднимающемуся из-за пригорка солнцу.

Анна нечаянно перевернула страницу, и с шершавого листа на нее глянули синие глаза женщины, круглолицей и курносой.

— Это жена Рудницкого, — сказал зверовод и взял у нее альбом.

— А вы, Кирилл Кузьмич, были когда-нибудь женаты? — неожиданно спросила Анна.

— Нет, я не женился, — смутно пробормотал зверовод.

По тому, как дернулось его лицо, Анна поняла, что допустила неловкость. Возникло молчание, короткое и тягостное. Потом зверовод посмотрел куда-то поверх Анниной головы и торопливой скороговоркой добавил, что у него была невеста и что ее растерзали басмачи.

Сказав это, он захлопнул альбом и с трудом, — так показалось Анне, — волоча ноги, пошел к лестнице.

— Не надо было шить, — укорял себя зверовод, раскуривая третью трубку подряд. За окном стояла ночь, морозная и звонкая. Зверовод знал, что если он подойдет к окну, то увидит все четыре стенки питомника. В марте он часами не выходил из башни, наблюдая брачную суету зверей. Но сейчас звери спали, и то, что он, лежа в постели, пялился на окна, было занятием глупым и совершенно бесцельным.

Огонек трубки вспыхивал и погасал. Наконец он вспыхнул в последний раз, и трубка упала. Человек не слышал ее падения, он спал. Некоторое время дыхание его было ровным. Потом он стал метаться. Ему было жарко.

...Жарко было, несмотря на ранний час. Прямо над головой висело нагретое полотнище. Под ногами дышал зноем красноватый песок. У входа в палатку, в тени пыльного дерева умывалась Таня. Ему видна была только ее спина в батистовой кофточке и наклоненная шея. Загар не тронул шеи там, где золотистыми колечками завилась волосы. Вот она выпрямилась. Спяние ее глаз, больших и синих, пролилось на него. Он сидел, боясь пошевелиться. Она улыбалась своим маленьким, почти детским ртом. Такой ясной улыбки он никогда еще у нее не видел.

И вдруг он заметил, что с ее опущенных ладоней капает вода. Капли падают в песок и бесследно исчезают. А вода все струится по ладоням. Кажется, что она вытекает из батистовых пузырей, которые взбились над локтями. Встревоженный, он хочет сказать об этом, но слова не повинуются.

А она все улыбается. Она улыбается и говорит, что надо ехать на кош к Натруле. Его охватывает ужас. Он не может понять, почему исчезают капли. Они падают и не оставляют следа. А песок шипит. Он хочет встать, чтобы взять ее за руки. Но за полотняной стенкой вдруг раздаются шаги. Они все ближе. Вот уже слышно сильное дыхание бегущего человека. Они враз оборачиваются и видят Натрулу. Патрула стоит, привалась к дереву. Он очень бледен. Они подбегают к нему, и он сильно кричит:

— Басмач, басмач!

И вдруг все исчезает: и Натрула, и дерево, и самая палатка. Он видит только Таню и еще ослика. Это тот самый ослик, которого Таня назвала Пустынником. Они бегут рядом, увязая в песке. Позади слышен перестук копыт. Он не может понять, почему Таня не вскочит на ослика. Он хочет крикнуть, но голос не повинуется. А гром копыт слышится со всех сторон. Значит, их окружают.

В отчаянии он останавливается. Надо задержать тех, которые скажут. Он хочет обернуться, но на него обрушивается удар. Он вскрикивает и падает. Пальцы впиваются в песок. Песок накален. Внезапно он становится прохладным. Нет, это не песок. Это глина, влажная и мягкая. Она приятно холодит ладони.

Он открывает глаза. Каменный купол повисает над ним. Так и есть: это сардоба! Каменный купол, прохладный и темный, воздвигнут над водоемом. В нестерпимый зной он не раз отдыхал здесь с Таней. Вот и теперь на пути в кош они заехали в сардобу. После солнца так приятен сумрак. У водоема тихо разговаривают люди. Это

собрались чабаны. Таня, конечно, с ними. От солнца бывают удары. Может быть, и его поразила удар? Нет, он просто раскис.

Выходит, он слабее Тани? Нет, это прямо дико. Он повертывается, точнее, пробует повернуться; боль обжигает его. Она длится минуту, а может быть, час. Он открывает глаза. У водоема сидят люди. Они сидят полукругом, подбив под себя ноги. Подошвы их сапог торчат в разные стороны. Тани нет с ними. Он видит только подошвы и зелено-желтые халаты. И вдруг он замечает что-то в окровавленном тряпье. Страшная догадка потрясает его. Он хочет крикнуть, горло сдавлено спазмой. Он протягивает руки — и табуретка с грохотом падает. Он просыпается, с усилием переводя дыхание.

Ночь, морозная и звонкая, стоит за окном. В ночном небе полыхают сполохи. Синеватые их отблески озаряют башню.

Он проводит рукой по лбу. Лоб влажен.

Вот так же он очнулся тогда в госпитале.

Только тогда не было ночи, а был день нескончаемый и жаркий.

Он очнулся в комнате, в которой наглухо были закрыты ставни. Свет пробивался в щели и полосками стелился по полу. Вслед за светом проникал свист.

Звук был тонюсенький. Только впоследствии он понял: это какой-нибудь мальчишка свистел в свистульку. Тогда же ему показалось, что это зной вытянулся в тонюсенькую ниточку.

От жары он задыхался. На тумбе стоял графин. В графине была вода. Он потянулся к графину и уронил его. Большая белая женщина беззвучно вплыла в комнату. Он посмотрел на нее

и спросил о Тано. Она сказала, что Таня умерла.

Впоследствии эта женщина объяснила: он посмотрел на нее такими глазами, что она не могла скрыть правду. Она опомнилась только тогда, когда он повернулся к стене. Она бросилась к нему, но он не слышал ее слов.

Так, лицом к стене, он пролежал весь день. Пришла старшая сестра, пришел врач,— он не открыл глаз. Она же, сказавшая ему правду, не посмела сказать правду врачу.

Должно быть, раскаяние мучило ее. Сидя у его койки, она не раз рассказывала ему эту историю. Когда же он выписывался из госпиталя, она одна проводила его до ворот. Здесь, со слезами на глазах, она попросила у него прощенья. Он обнял ее и, покачиваясь от слабости, ушел.

Азиатский город жил обычной жизнью. На улицах скрипели арбы, в арыках шумела вода, за глиняными дувалами лепетали деревья. Он прошел прямо на почту и здесь написал два письма.

Одно письмо было адресовано в техникум, другое — Таньиной матери. Он не хотел возвращаться в техникум, потому что там не было Тани. Он сообщил, что уходит из техникума, и затребовал свои документы.

После этого он еще шестнадцать дней прожил в городе. Он почевал в Доме декханина, а днем слонялся по чайханам. В чайханах его считали тронутым и относились к нему с боязливым уважением. Когда же документы были, наконец, получены, он отправился на вокзал и купил билет до Красноярска. Из Красноярска последний пароход доставил его в Дудинку.

В районе Дудники он прожил три года. Но тундра слишком напоминала пустыню, а стойбища самоетов были похожи на коши. Он обрадовался, когда его перевели в тайгу. И вот он третий год живет здесь, а всего с той осени прошло пять лет.

И все-таки ему не стоило пить.

Он поднял табурет и стал искать трубку.

Он курил только по ночам и в особенности в те ночи, когда его мучила бессонница.

## XV

В начале декабря дни сделались так коротки, что большую часть работ в вольерах приходилось проводить при свете фонаря.

Анна настолько освоилась с питомником, что, по определению зверовода, научилась «узнавать зверей в лицо». Это значило, что песцы со своими снежно-белыми шубами не были уже для нее существами, в точности похожими один на другого.

Самое большое внимание она отдавала Злюке и ее детенышам, которые из возраста «слепышей» успели перейти в возраст «крестовиков». Наблюдения над жизнью щенков увлекали ее до самозабвения. Щенки со своими темнобурными спинками и серыми животиками были необычайно забавны. Они резвились целые дни, а если иной раз задумывались, то становились так важны и так уморительно поводили ушками, что невозможно было смотреть на них без смеха. Зверовод бросал им в вольер крашеные шары, и они гонялись за этими шарами до тех пор, пока от усталости у них не вываливались розовые язычки.

Сначала Анне казалось, что Злюкины детеныши не отличаются от собачьих щенков, но вскоре она убедилась в их свирепости.

Зверовод принес глухаря-подранка и кинул его в вольер. Птица, волоча подбитое крыло, заскакала по огороженному пространству. Она пробовала взлететь, но сетка отбрасывала ее в снег. Щенки мгновенно кинулись на нее. Они выросли в неволе и не добывали пищи охотой, по сейчас вся шерсть на них вздыбилась, и они, загнав птицу в угол, начали рвать на ней перья.

Зрелище это было так отвратительно, что Анна ушла из питомника.

Вечером она сказала звероводу, что он напрасно пробуждает у щенков их хищные инстинкты. Зверовод возразил, что движение способствует росту и что, кроме того, теплая кровь полезна. Анна болезненно сморщилась.

— Значит, они растерзали птицу?

— Да, растерзали, — спокойно сказал зверовод.

Анна после этого охладела к щенкам и стала реже подходить к вольеру.

Тогда зверовод привлек ее к составлению точных рационов.

Как только она освоилась с рационами, зверовод занял ее изучением сезонных окрасок песка.

Вскоре она безошибочно могла сказать, когда «крестовик» становится «песцом» и когда «сн-ных» превращается в «дошлого песка».

Так день от дня расширялся круг ее знаний.

В канун нового года зверовод сказал, что он доволен ее успехами. По его мнению, она вполне была подготовлена к самостоятельной работе. И

зверовод предложил, чтобы она сама организовала весь производственный день.

— На пробу, — сказал он, — я совсем не выйду из дому, а вы организуйте день так, как вам покажется лучше. Николай будет в полном вашем распоряжении. Только условимся, что вы ни о чем не будете меня спрашивать.

Анна, взволнованная, оделась и ушла из дому. Весь этот день она провела в питомнике. Она озябла до того, что не могла пошевелить губами.

И все же она вернулась домой счастливая и довольная. Николай, проводивший ее до крыльца, сказал, что она стала «совсем большой начальницей», то есть что она стала настоящим звероводом. От этого ей было весело, и она, раздеваясь в кухне, невольно улыбалась, хотя губы у нее и одеревятели. Пальцы тоже плохо слушались, настолько плохо, что она едва справилась с пуговицами. Наконец она освободилась от одежды и торопливо пошла или, вернее, побежала в лабораторию. Дверь оказалась запертой.

В ответ на нетерпеливый стук зверовод зашуршал бумагой и пегромко крикнул:

— Сейчас, сейчас!

Анна знала, что он собирался засесть за годовой отчет. Было ясно, что он разложился с ведомостями на обеденном столе и теперь ему надо долго хватит уборки. Между тем она прямо рвалась к горячему супу.

Самым жалобным голосом она говорила за дверь, что ей хочется есть.

Зверовод опять повторял: «Сейчас! Сейчас!» — и торопливо чиркал спичками.

Анна подумала, что он разжигает печку и для скорости пустил в растопку газеты. Но по-

ленья уже трещали, а он все чиркал и чиркал спичками. Потом стало слышно, что он передвигает табурет.

Это было нечто совсем непонятное.

Анна, смеясь, жалобно верещала у двери, а он все шурился бумагой.

Наконец он прошагал через всю комнату и лягнул крюком.

Когда дверь открылась, Анна вскрикнула и удивленно всплеснула холодными ладошками: зверовод стоял с табуретом в руке, а за его плечами, в огоньках свечей, в блеске стеклянных бус и цепей из золотой бумаги, сверкала елка.

Анна схватила зверовода за руки и растроганно сказала:

— Какой вы добрый, Кирилл Кузьмич!

Он поставил табурет и конфузливо улыбнулся. Он говорил о недостатке украшений. Но Анна не слушала и ходила вокруг елки. Все, за исключением пряников, было сделано его руками, — значит, уединяясь в эти дни, он занимался совсем не отчетом. Вот ведь какой скрытный, она и не подозревала о его замыслах.

Больше всего ему удалось ватные, с бисерными глазками, шесцы. А эти крашенные шары он отобрал у щенков. Нет, игрушек совсем немало. Непонятно только, почему рядом с серебряной звездой висит какой-то флакончик.

Анна хотела спросить об этом, но зверовод сказал, что ей надо обедать. Она вышла из-за елки и увидела, что суп дымится на столе.

Зверовод сказал, что он пойдет за Ивуль и Николаем. Анне так хотелось есть, что она забыла его поблагодарить.

Суп был очень горяч. Она обжигалась и шмыгала носом. Это ее сместило. В то же время она чувствовала, что глаза у нее влажны от слез. Она смахивала слезинки и, улыбаясь, шептала:  
— Господи, какая же я дурища!

## XVI

Через полчаса все население питомника сошлось за столом.

Не в пример октябрьскому пиршеству, Анна позаботилась о костюме: на ней было шелковое, в блеклых цветочках, платье, шелковые тонкие чулки и открытые замшевые туфли, которые, после растоптанных валенок, казались прямо невесомыми. Должно быть, от этого настроение у нее было самое праздничное. Она храбро ела строганину и, так же как Ивудь, заливала ее чаем.

У ее прибора стоял подарок зверовода — большой, с бисерными глазками, песец. Она закручивала песцу усики и, смеясь, показывала его Хорчику. Хорчик посматривал на ватного зверка и смущенно — так казалось Анне — помахивал хвостом.

Ивудь развлекалась еще более шумно. Ей подарили погремушку, и она то и дело потрясала ею, смешливо лепеча:

— Кинтедьянчик, бум, бум, бум!

Николай что-то выговаривал ей, но она не понимала.

Николай получил тот самый флакончик, которому так удивилась Анна. Во флакончике был спирт. Зверовод сказал, что супруги должны унести подарки к себе. Недовольный тем, что

спирт нельзя распить сразу, Николай звал жену домой. Она не хотела уходить, и Анна заступилась за нее, говоря, что елка бывает один раз в году.

Николай соглашался, но тут же угрюмо добавлял:

— Однако, баба, пойдем!

Анна рассердилась и на время отобрала у него флакончик. Николай как будто успокоился. Зверовода все это забавляло, и он смеялся своим курлыкающим смехом.

Так они сидели при меркнувшем свете елки. Свечи потрескивали и гасли одна за другой, Анна не позволяла зажигать лампу. Когда же на елке осталось всего пять-шесть свечей, Анна открыла дверцу печи и подбросила несколько поленьев.

Возвратясь на свое место, она попросила зверовода рассказать что-нибудь, подходящее к случаю.

Зверовод сказал, что, насколько ему известно, в ночь под новый год шлагается рассказывать всякие истории с благополучным концом, его же истории как раз кончаются неблагополучно.

— Самый страшный случай в моей жизни — это когда погиб у меня Орлик, — добавил он после небольшой паузы: — Орликом конь мой назывался, и это, конечно, во время гражданской войны было, когда я с белыми воевал. У нас тогда на Кубани так сложилось, что нам довелось отступать, и вот мы в составе, примерно, трех тысяч сабель ушли в Калмыцкую степь. Было это в девятнадцатом году, как раз в рождественскую неделю. Мы в поход налегке двинулись, потому что рассчитывали продовольствие у кал-

мыков получить, а они, на беду, откочевали за Волгу, и мы остались в степи без хлеба и без фуража. В степи тогда снегу не было,— его сдуло ветрами, и эти же ветры подымали песок, и он с такой силой бил в лицо, что просто будто плетью сек. Кони, конечно, стали падать.

Это, знаете, страшная беда, когда кавалерист коня лишается, особенно же в таких обстоятельствах. И главное, у всех это совершенно одинаково происходило. Сперва конь начинал останавливаться, потом вовсе отказывался идти. Боец, конечно, спешивался и вел коня в поводу. Но только пользы от этого немного было. Конь пройдет еще версты две-три и падает. Боец его и бьет и уговаривает, а конь протянет морду и только стонет.

Тут уж каждый человек разное поступает: один снимет седло, другой с пустыми руками идет, а смотреть на них одинаково тошно.

Мой Орлик был крепкий конек, но бескормица и его подсекла. И когда он упал, сначала на колени, а потом на брюхо, я даже и заплакать не смог, настолько все во мне обледенело. Я около него долго стоял, но стоянием беды не поправишь, а уж отряд из глаз скрываться стал, и мне волей-неволей пришлось двинуться вперед. Я твердо знал, что когда коня бросаешь, то оглядываться ни в коем случае нельзя, но у меня выдержки нехватило, и я, отойдя шагов на двадцать, все-таки оглянулся. Орлика стало уже песком заносить, но он через силу морду от земли оторвал и такими глазами... Нет, об этом нельзя рассказывать!..

Зверовод опустил голову и стал теревить кисть скатерти.

Анна подошла к печке и, сведя за спиной руки, прижалась к нагретой стенке.

Рассказ зверовода расшевелил в ней воспоминания о зиме девятнадцатого года и о смерти матери. Это произошло в городе Старо-Кузнецке. ей, Анне, было тогда одиннадцать лет, и она жила с матерью в деревянном флигеле, стоявшем позади двухэтажного хозяйского дома. Мать заразилась в больнице, где она служила кастеляншей. Когда Анна, в валенках на босу ногу и в материнской шали, прибежала в двухэтажный дом и сказала, что мать свалилась в беспамятстве, толстая Сундучиха, жена хозяина, испуганно всплеснула руками и с отвращением крикнула:

— Иди, иди, девчонка, у вас тиф!

Анна уже знала, что такое тиф, но идти ей было не к кому, и она возвратилась домой.

Мать бредила и металась. Судорожно комкая одеяло, она пронзительно шептала: «Напиши отцу, напиши отцу!» Анна знала, что написать отцу было невозможно, потому что его убили на австрийском фронте. Этот шепот пугал ее, и она хватала больную за руки. Мать вырывалась и все пронзительней твердила: «Напиши отцу, напиши отцу!»

Нет, лучше не вспоминать об этом.

Анна провела по лбу горячей ладонью и обернулась к звероводу.

Он все сидел, теребя скатерть.

Анна проглотила подступивший к горлу жаркий и твердый ком и неестественно оживленно сказала:

— Кирилл Бузьмич! Я вот о чем подумала. Мы с вами живем в одном доме и все-таки со-

всем не знаем друг друга. Давайте-ка по этому случаю рассказывайте свою биографию!

Зверовод выпрямился и нерешиительно проговорил:

— Ну, что же рассказывать-то? Жизнь моя самая обыкновенная. Родился я в деревне, отец мой был сапожник, а матери я лишился трех лет, так что воспитывали меня мачехи. Их у меня переменилось несколько...

Глуховатый голос зверовода окреп и зазвучал размеренно. Анна слышала отдельные слова, но они проходили мимо сознания. Она думала о своем.

В ту ночь, когда мать, как показалось Анне, заснула, в дверь флигеля постучались. Анна не хотела отпирать, но люди крикнули с улицы, что они красноармейцы и что их направили сюда на постой. Анна никогда не видела красноармейцев, потому что до этого в городе находились белые. Мать пручила ее бояться солдат, и она дрожала, стоя у запертой двери. Красноармейцы стучались и простуженными голосами уговаривали ее не бояться. Анна сказала, что она не боится, а не отпирает потому, что у нее мать больна тифом. Она думала, что красноармейцы после этого уйдут, но они посоветовались за дверью и один из них сказал:

— Мы тифом все переболели. давай уж, девчущечка, открывай, пожалуйста!

Его голос, усталый и озабоченный, успокоил Анну, и она отложила крючок. Тогда во комнату ввалились трое, в валепках, в полушубках, в папахах с красными лентами. Тот, который вошел первым, низенький, круглолицый, с гранатами у пояса, быстро оглядел кухню и удовлетворенно сказал:

— Ну вот, мы здесь и поместимся, а большую тревожить не будем!

Анна сказала, чтоб они говорили тише, потому что мама заснула.

Круглолицый обещал, что они будут тихо волы, ниже травы, и, обмахивая валенки папашой, озабоченно стал выспрашивать, давно ли заболела мать и кто за ней ходит. Узнав, что мать лежит девятый день и что Анна безотлучно пробыла с ней все это время, он укоризненно покачал головой и решительно сказал:

— Ну, вот что, девчущечка,— ты с нами чаю напейся и сразу ложись спать, а я сам за тебя буду дневалить!..

...Зверовод скрипнул стулом, и Анна вздрогнула. Он рассказывал теперь о своем отъезде из деревни и еще о том, как он батрачил на Кубани. Пвуть слушала его, открыв маленький и яркий ротик. Николай дремал с полуприкрытыми глазами. Анна смотрела на них, но в памяти ее возникал тот морозный день, когда она шла по улице, увешанной красными флагами. Круглолицый красноармеец, держа ее за руку, жалостно говорил, что слезами матери не воскреснешь и что, раз она осталась жива, ей надо жить. Так они пришли в детский дом, устроенный в бывшем купеческом особняке. На прощанье красноармеец сунул ей пакетик с пайковым сахаром и обещал, что будет приходить к ней. Пока часть стояла в городе, он действительно наведывался в детский дом. После он прислал ей три или четыре письма, наполненных поклонами и советами не помогать горю слезами.

Этот человек спас ее для жизни, а она знала в нем одно: что его звали Иваном и что до всту-

пленя в Красную Армию он плотничал в Костромской губернии. Где он теперь, этот костромской плотник, который ласково звал ее девчущечкой?

Анна отошла от печки и села рядом с Ивуль. Зверовод говорил о школе взрослых, которую он, после демобилизации, окончил, о ветеринарном техникуме, о практике в каракулеводческом совхозе. Анна заставила себя вслушиваться в его слова, но он неожиданно смолк, будто вспомнив что-то очень важное. Ничего не вспомнив, он щиповато улыбнулся и тихо проговорил:

— Ну, вот и все!

Анна засмеялась и сказала, что он повествует о себе так, будто заполняет анкету.

Зверовод покраснел и сконфуженно признал, что это верно, но что рассказывать о себе трудно.

Только теперь они вспомнили о часах. Ходики показывали уже полчаса первого.

— Прокараулили! — всплеснула руками Анна.

Зверовод поднялся и, целовко, путаясь в словах, поздравил ее с новым годом.

## XVII

Бессонница томила его в эту ночь. Он ворочался на постели и беспокойно думал о том, что сказал о себе все и все-таки ничего не сказал. Сын сапожника, потом батрак, потом красноармеец — получается действительно анкета, а жизнь останется нераскрытой. Но как, какими словами рассказать о себе? Отец его был сапожник, это правильно. Но ему достаточно подумать «отец» — и он видит его всего, от се-

деющих волос, подвязанных ремешком, до сухощавых ног, обутых в валенки. Анна же ничего этого не видит, потому что слово «сапожник» решительно ничего не выражает. Сапожники бывают всякие, отец же был человек на свой образец.

Взять, к примеру, его разговоры с заказчиками. Он никогда не выполнял заказа в срок, а если заказчик выражал недовольство,— начинал мрачно шутить, что все на свете тлен, все суета, что жизнь человека непременно кончается смертью и что поэтому не стоит тревожить себя из-за каких-то ничемужных сапог. Иной заказчик, обиженный шутками, неосторожно поднимал крик, тогда отец выбрасывал заказчику товар и сразу порывал с ним и деловые и не деловые отношения. Но это случалось редко, потому что заказчики хорошо знали нрав отца и в ответ на его шутки ставили перед ним традиционное угощение — шкалик и огурец на ломте черного хлеба. Распив угощение, отец самолюбиво ставил угощение от себя. Получалось так, что почти весь его заработок уходил на выпивку, а на хозяйство оставалось только то, что успевала схватить от полочки очередная мачеха.

Мачехи менялись часто.

Первой в его памяти сохранилась плоскогрудая женщина, которую отец прозвал «горнишной барыней». Отец, когда паивался пьян, обычно так и говорил:

— Пойди, Кирюшка, посмотри, что делает горнишная барыня?

Он шел в переднюю избу, а потом возвращался к отцу и с удовольствием сообщал, что горнишная барыня ничего не делает.

Отец укоризненно покачивал головой и пьяно бормотал, что эту барыню он, дай срок, сгонит со двора, а вместо ее найдет такую паву, которой вся деревня удивится.

Но барыня не дождалась, когда ее сгонят, и ушла сама.

Отец съездил в соседнюю деревню и привез оттуда новую жену. Это было существо огромного роста, с высоченной грудью и мощными бедрами. Она заметно не дослышивала и потому засиделась в девках. За отца,—это он после узнал,—она вышла от нужды. Соседи прозвали ее глухарем, но он, мальчик Кирюшка, нежно привязался к ней. Она была сильная и работающая, и с ее появлением в доме ему стало хорошо. Она звала его голубеночком и то и дело совала ему еду. Он отъелся и стал ходить в новых рубашках. Он гордился этими рубашками, потому что их сшила мачеха. Он ходил за ней как собачонка.

Один раз им случилось пойти на молотьбу. Мачеха считалась молодухой, в деревне же было принято ронять молодух в полову. Ему, Кирюшке, известен был этот обычай. И все же, когда какой-то парень схватил мачеху, он испугался так, что заревел на все гүмно. Мачеха только повела плечами, и парень свалился наземь. Он, Кирюшка, плача от ярости, стал забрасывать его половой. Парень вскочил и хотел схватить его за уши. Тогда мачеха встала перед обидчиком, и парень, под хохот молотильщиков, смиренно отошел в сторону. Тут же ему, Кирюшке, пришлось выдержать драку с мальчишками, которые обозвали мачеху «глухой тетерей».

Весной отец отдал его в подпаски. Мачеха, расставаясь с ним, плакала. у него же от горя потемнело в глазах, и он не помнил, как ушел из дому. С этого времени он редко стал видаться с мачехой. Все его дни, от зари до зари, проходили на пастьбе. Вечером вместе со старшим пастухом он ужинал в очередном доме и там же заночевывал.

Старший пастух был ласковый и немного придурковатый мужик. Он умел вырезать дудочки из тростника и знал множество сказок, но ему, подпаску, было все-таки скучно в поле, и он часто спрашивал, когда кончится пастьба. Пастух неизменно отвечал, что пастьба кончится после Михайлова дня. Он спрашивал, когда настанет Михайлов день. Пастух отвечал, что Михайлов день настанет тогда, когда упадет первый снег.

Но ему не довелось дожидаться первого снега.

В самый разгар страды выпал град такой силы, что все стадо разбрызнулось по луговине. пастухи же спаслись на жнивье, где они зарылись в снопы. Град с полчаса молотил землю. Потом все стихло. Пастухи, дрожа от холода, стали собирать стадо.

На всю жизнь ему запомнился этот день. Голова его опухла от ударов градин, а озноб ломал руки и ноги. И когда они, наконец, собрали стадо, он только прилег на старенький кафтан и сразу впал в беспамятство.

Очнулся он в отцовской избе.

Мачеха осторожно возилась у печи. Лежа на кровати, он молчал и растроганно смотрел на нее. Вот она нагнулась и открыла заслонку, вот взяла рогатый ухват и сунулась в зияющую печь. Он смотрел на нее и тихо улыбался. Он

любил ее белую и полную шею, над которой подетски, золотыми колечками, завивались волосы, он любил ее широченную спину и ее толстые ноги с черными, потрескавшимися пятками. И когда она обернулась к нему, он просиял от счастья. Она обрадованно сказала: «Ощущаю, голубенок!» — и улыбнулась всем своим белым и добрым лицом. Он ничего не сказал, потому что не находил нужных слов. Тогда она тяжело затопала по избе и, приговаривая: «Тебе поесть надо!» — начала доставать с кухонных полок хлеб, молоко, яйца, огурцы. В это время в избу вошел отец. Мачеха сразу спикла и помрачнела. Когда же они опять остались одни, она подошла к постели, горестно подперла щеку ладонью и сказала, что отец «свалялся со вдовой», а ее хочет прогнать из дому.

Он не знал, что значит «сваляться со вдовой», но сразу почувствовал себя несчастным.

Дней через пять случилось так, что мачеха куда-то вышла, а отец замешкался в избе. Он с усилием приподнял голову и дрожащим голосом попросил отца, чтобы тот не выгонял мачеху.

Отец молодцевато приосанился и сказал, что вместо этого глухаря приведет в дом настоящую паву.

Он обиженно возразил отцу:

— Я твою паву не буду мамой звать!

Отец оскалился, показал желтые зубы и насмешливо произнес:

— Пшь, как напугал!

Утром отец отвез глухую в ее деревню. В последний раз он увидел ее в окно, до которого доплелся с трудом. Глухая сидела на телеге, и колечки на ее шее вздрагивали. Так, со вздра-

гивающими колечками, она съехала со двора, а вместо нее отец привел «паву» — маленькую, черненькую и бойкую вдову, которую в деревне почему-то дразнили «Туркой».

Он, Кирюшка, не поладил с вдовой. И когда случилось так, что он едва не откусил ей палец, отец отдал его в батраки. О батрачестве он правильно сказал Анне: батрак у хозяина дешевле скотины. Ему довелось батрачить с одиннадцати лет, у него переменялось несколько хозяев, но добра от них, однако, немного было. И вообще он видел добро только от глухой. И Таню он, может быть, полюбил потому, что у нее так же, как у мачехи, колечками завивались волосы.

...Под утро зверовода разбудил громкий стук.

Когда он оделся и спустился вниз, Анна уже стояла с Николаем в кухне. Николай, испуганный и бледный, разводил руками и потерянно бормотал:

— Помират, совсем помират!

Анна, не шопадая в рукава полушубка, сердито говорила:

— Не глуши, Николай, пожалуйста, не глуши!

## XVIII

В бане тускло горела коптилка. При ее свете Анна не сразу разглядела широкую скамью, на которой распростерлась Ивуть. Тунгуска лежала в странно-неудобной позе, с запрокинутой головой. Когда Анна подошла к ней, Ивуть повела на нее широко раскрытыми глазами и хрипло проговорила:

— Однако, помру!

Анна торопливо сказала: «Нет, нет!» — и трясущимися руками стала расстегивать полушубок.

В предбаннике поскрипывали половицами мужчины. Анна подумала, что Николая необходимо чем-нибудь занять. Приоткрыв дверь, она сказала, чтобы Николай пошел в дом и как можно скорее приготовил кипятку. Она хотела еще прибавить, чтобы Николай не боялся, но Ивуль крикнула так пронзительно, что у нее зазвенело в ушах. Она сбросила полушубок и кинулась к роженице.

Ивуль обеими руками вцепилась в края скамьи, ее обнаженные ноги, полные и желтовато-смуглые, мелко тряслись. Анна схватила ее за плечи, но Ивуль, словно подброшенная неудержимой силой, выгнулась дугой и закричала так, что Анна невольно отшатнулась. Поборов страх, она крепче обняла Ивуль. Схватка кончалась — Анна почувствовала, как под ее руками падало каменное напряжение тела.

Когда Ивуль успокоилась и обессиленно распростерлась на скамье, Анна вытерла ее взмокший лоб и села с краю.

Неотвратимость происходящего страшила ее, и она тревожно думала, что Ивуль и в самом деле умрет. Но она отогнала эту мысль и твердо сказала себе, что от этого не умирают. И ей вспомнилось, как кричали женщины в больнице, когда она там лежала.

Родильное отделение помещалось внизу, но крики были слышны во втором этаже, и это очень сердило обитательниц ее палаты. Она же не сердилась на рожениц, а завидовала им.

Именно в те дни она окончательно и на всю жизнь поняла, что лучше кричать без памяти, чем подвергаться пытке на гинекологическом кресле. Старая хожалка, которая после операции прикатила ее в палату, сказала с сожалеющей веселостью: «Обообрали!» — и она почувствовала, что ее действительно обообрали, опустошили, ограбили. С Юрием невозможно было спорить: он говорил, что им надо учиться, и доводы его были убедительны. Ни он, ни она не знали тогда, что в этих случаях нельзя слушаться разума.

Роженица завочилась, и Анна почувствовала, что тело Ивуль напряглось. Она положила руки на плечи Ивуль и склонилась к ее лицу. В глазах Ивуль мутнело острое, звериное страдание. Она подтянула ноги и опять стала выгибаться. Анна поняла, что крик облегчает боли, и, перестав бояться, ласково зашептала:

— Покричи, Ивушка. покричи, пожалуйста.

## ХІХ

Весь день, пока зверовод работал в питомнике, его терзал доносившийся из бани крик. Николай смятенно сновал между баней и домом. Анча посылала его то за иодом, то за кипятком, то за чистым полотенцем.

Зверовод тревожно спрашивал:

— Ну, как?

Николай бормотал: «Худо!» и убегал с поручением.

Звери, как на беду, тревожились, и только один Хорчик был спокоен.

Вечером, когда Николай пришел за ножница-

ми, зверовод предложил позвать доктора. Николай округлил глаза и беспamięтно забормотал:

— Доктор не надо! Доктор резать будет!

Зверовод выдал ножницы и сел обедать. Оказалось, что есть ему не хочется. Не убирая тарелок, он отодвинулся к печке и попробовал заняться чтением. Тепло сморило его, и книга выпала из рук.

Проснулся он как бы от толчка.

Анна стояла в дверях с глазами, полными слез.

Он вскочил и потерянно крикнул:

— Умерла?

— Нет,— одними губами сказала Анна и судорожно глотнула воздуха,— девочка родилась!

Зверовод обессиленно привалился к печке.

Анна опустилась на стул и вдруг, закрыв лицо руками, задергалась в беззвучном плаче.

Зверовод весь похолодел: он только теперь заметил, что на шее у Анны вздрагивали золотые колечки.— такие же, как у мачехи, такие же, как у Тани...

...И была другая ночь.

Анна, шлепая босыми ногами, прошла на кухню и открыла дверь. Белый пес вбежал в комнату и легким дымком заструился по полу. Она наклонилась, потрепала пса за уши, строго сказала: «Спать, спать, спать!» — и прошла в лабораторию.

В печи дотлевали дрова. Анна подбросила несколько поленьев, потом наклонилась к собаке и тихо шепнула:

— Хорчик, а у меня тоже родится маленький! Ты будешь его любить, псина, а?

Пес посмотрел умными глазами и облизал ей руки.

Она засмеялась, прижалась лицом к его прохладной шубе и все так же тихо шепнула:

— Мы будем кормить его строганиной, и он вырастет здоровенький!

— Анна! — спросил с башни зверовод. — Что ты там делаешь?

— Печку топлю! — ответила она и вдруг вспомнила, что он живет в доме, придуманном ею. Надо было бы сказать ему об этом, но он ведь не поверит, а плана лесничества, который она составила в институте, у нее нет.

— Анна! — строго крикнул зверовод. — Ты же простудишься, глупая!

— Не простужусь! — сказала она и, закрыв печку, пошла к лестнице, ведущей на башню.

Пес, стуча коготками, застелился впереди.

1939 г.

## ТУНГУС С ХАННЫЧАРА

### I

Рука у Кедрова давно затекла, но повернуться было лень. Он полулежал на оленьей шкуре, подложив ладонь под согревшуюся щеку. Глаза у него слипались. Глухо, будто сквозь шерсть, он слышал голос Игната:

— Места здесь дюже холодные, реки, можно сказать, встают зараз.

«Встают зараз», — мысленно повторил Кедров, стараясь понять значение этой фразы.

Костер догорал. Кедров сел и, не вставая с места, дотянулся до кучи валежника. Выдернув три или четыре жердинки, он переломил их и бросил в огонь.

Рослый пес вышел из темноты и лег у костра, прибившись головой к ногам Игната. Костер разгорелся. Было очень тихо. Пламя вздымалось прямо, и отблески его медленно раскачивались на полотнище палатки.

Кедров опрокинулся на спину. Время близилось к полночи. Звезды шли над лесом. Крупные, по-осеннему прозрачные, они напомнили Кедрову прогулки вокруг институтских корпусов.

Сколько месяцев прошло с тех пор? Август, июль, июнь. В мае он жил в институте, ничем не отличаясь от других студентов.

Налаженная жизнь катилась без помех. Он ходил на лекции, посещал собрания, работал в лаборатории, вздыхал под звездами, играл в шахматы и пел в хору.

В середине апреля профессор Ваганов вывесил на дверях своего кабинета объявление о том, что он может взять студента старшего курса в лесоисследовательскую экспедицию, отправляющуюся на север.

Кедров прочитал объявление, и тонкая льдинка его спокойствия мгновенно растаяла.

Попрежнему он ходил на лекции и лабораторные занятия. Люди и вещи остались на тех же местах: банки с реактивами стояли на лабораторных полках, синее пламя горелок билось под тигельками, в водопроводных трубах, проложенных вдоль стен лаборатории, ворчливо переливалась вода,— все было по-старому. Кедров заскучал.

Ровный шум газовых горелок не мешал ему думать о путешествиях. От рассеянности он бил посуду.

Решение пришло неожиданно. Апрельским утром он разбил четвертую колбу. Собрав осколки, он запер их в шкаф и торопливо вышел из лаборатории.

Разговор в профессорском кабинете был непродолжителен. Профессор Ваганов принял Кедрова, стоя у чертежного стола. Держа в правой руке рейсфедер, а в левой линейку, профессор повернулся к Кедрову, ставшему у двери.

Кедров заявил, что он хочет быть сотрудником экспедиции.

— Лесфак? — спросил профессор скрипучим и неприятным голосом.

— Да! — ответил Кедров.

— Четвертый курс?

— Да!

Положив рейсфедер и линейку, профессор подошел к Кедрову. Он был темен лицом и тщедушен. Его белый халат был выпачкан тушью.

— Имейте в виду, — сказал профессор, морща пергаментный лоб, — вам придется в некоторых случаях выполнять физическую работу.

— Я не боюсь, — буркнул Кедров.

Профессор вытер руку о полу халата и протянул ее Кедрову.

В первых числах июня профессор Вагатов и студент Кедров прибыли в таежный поселок Литвенцова, расположенный в верховьях Северной реки. Здесь началось формирование экспедиции. В воскресное утро небольшая илимка<sup>1</sup> с четырьмя гребцами и двумя пассажирами отошла от Литвенцова. Таежная река, порожистая и быстрая, подхватила лодку и понесла по течению.

Берега реки были пустынные. Изредка попадались тунгусские чумы. Экспедиция шла по пути казаков, некогда промышлявших земли и «мягкую рухлядь» — меха. Гребцами в экспедиции были прямые потомки землепроходцев братья Семиколенных — Петр и Павел. Коренные жители Литвенцова, высокие, худые и жилистые, они никогда не видели железной дороги и парохода. Когда Кедров сказал, что все население Литвенцова можно вместить в один городской дом, бра-

---

<sup>1</sup> Илимка — крытая лодка.

тья Семиколенных улынулись и сладко, по-северному зашепелявили:

— Ну, это ты, однако, парень, сугишь!

Семиколенных озадачивали Кедрова безразличным отношением к гнусу. Остальных участников экспедиции гнус доводил до бешенства. На воде было еще терпимо, — здесь ветер относил в сторону мошку и комаров, но на берегу во время таксационных работ гнус был неотвратим. Он пропикал под сетку, забивался в нос, уши, рот и глаза. Особенно страдала шея. Дни, проводимые на берегу, были нестерпимо мучительны. Семиколенных утешали путников:

— Будут жаморожки — гнус пропадет.

С половины августа гнус действительно стал пропадать. Путники повеселели. Плаванье подходило к концу. Можно было надеяться, что экспедиция выполнит маршрут за две недели до назначенного срока.

Происшествие у Бокового порога спутало все расчеты. Когда илимка вошла в стремнину порога, Петр Семиколенных, стоявший у руля, сделал неверный поворот, илимка царапнула днищем о подводный камень и быстро наполнилась водой. С трудом удалось довести ее до берега. Гребцы затеяли пробойку, а щели засмолили.

Тридцативерстное расстояние, отделявшее факторию «Север» от Бокового порога, экспедиция прошла в два дня. Это было трудное испытание. Течь все усиливалась. Под конец пришлось непрерывно вычерпывать воду.

В фактории «Север» илимку поставили на ремонт. Вынужденную остановку профессор решил использовать для рекогносцировочного обследования впадающей в Енисей речки Хапнычар. За-

ведущий факторией уступил профессору лодку. Взяв Кедрова, Егора и Игната, профессор отправился в путь. Братья Семиколенных, оставленные в фактории, должны были отремонтировать илимку, с тем чтобы не позднее восьмого сентября подвести ее к устью Ханнычара.

Братья пообещали профессору:

— Жделаем в луцсем виде!

## II

Легкие иголки озноба покалывали спину.

Кедров поднялся. Игнат сидел у костра, застыв огромной глыбой. У ног его растянулся пес.

Кедров негромко крикнул:

— Урикап!

Пес подбежал и ткнулся носом в его плечо. Кедров поймал его за уши, пес вдруг зарычал, вырвался и побежал в кусты.

— Идет кто-то,— сказал Игнат, поднимая голову.

Послышался треск валежника. Кедров встал, раздался тревожный лай пса.

— Человек, должно быть!

— Инканым! — послышалось в кустах.

Урикап смолк. Сухой треск приближался.

Игнат встал рядом с Кедровым.

Кусты развинулись, человек с пальмой вошел в светлый круг костра.

— Какой здесь людя? — спросил он негромко.

Это был молодой тунгус, тщедушный и тонконогий. Не дожидаясь ответа, он подошел к Игнату и, перехватив пальму, несмело протянул руку:

— Драствуй!

Игнат потряс его руку. Он был выше тунгуса на целое плечо. Тунгус стоял перед ним, расставив ноги и запрокинув голову.

— Большой нацальник,— сказал тунгус,— большой нацальник, как жить будем? Белка пропал, хлеб-та нету,— худое дело, борони бог!

Игнат глядел на тунгуса, недоумевая, Желтое лицо тунгуса перекошилось. Он сморщил лоб и с видимым усилием добавил:

— Большой нацальник, дай мне грамота, дай закон-бумагу! Я хоцу Ханнычар-река.

Лицо Игната налилось кровью, плечи затряслись, он хлопнул себя по ляжкам и закричал:

— Ай, уморил! Вот история-то какая!

Глядя на прыгающий кадык Игната, тунгус растерянно бормотал. Игнат давился смехом. Огромное тело его тряслось. Он приседал даже, крича в сторону лодки, покачивающейся у берега:

— Егор, вставай, засоня! Егор, история-то ведь какая!

Егор не вставал. Игнат бил себя по ляжкам. Он задыхался, он даже стонал.

Тунгус продолжал бормотать:

— Хлеб-то нету, белка пропал... Сами пропадем. борони бог!

Лицо у него было очень усталое.

Кедров подошел к нему.

— Боё,— сказал он, положив руку на его плечо.— боё, есть хочешь?

— Не снай,— ответил тунгус.

Тело его вдруг стало оседать. Кедров подержал его, но это не был обморок. Тунгус просто напроосто сел, поджав под себя ноги.

«Странный гость!» — подумал Кедров. Повер-

нувшись, он зашагал к палатке. Песок зачавкал под ногами, длинная тень от его фигуры упала на лунный берег, Кедров оттернул полотнище, прикрывавшее вход, и белый свет луны пролился в палатку. На походной кровати, стоявшей направо от входа, медленно качнулась меховая горка. Из мехов послышалось:

— Что там такое?

— Проснулись? — спросил Кедров. — Там, знаете ли, Владимир Львович, тунгус пришел.

— Какой тунгус?

Из мехового кокона вылупилась голова. Чиркнула спичка. Волосатая рука поднесла ее к свече, стоявшей в подсвечнике на опрокинутом чемодане. Желтый свет, вытесняя свет луны, заполнил четырехугольное пространство палатки. Профессор нашарил роговые очки, лежавшие у подсвечника.

— Какой тунгус? — переспросил он, усаживаясь на постели.

Кедров прошел в тот угол, в котором была свалена его постель.

— Обыкновенный, знаете ли, тунгус. Он принял Игната за большого начальника и попросил грамоту на вечное владение рекой Ханнычар.

— Так он с Ханнычара?

— Говорит, что с Ханнычара.

Профессор надел очки и хмыкнул.

— Возьмем его в проводники.

— Это было бы здорово! — обрадовался Кедров.

Профессор выкинул из-под мехов руки и потянулся. Коричневая фуфайка раскрылась на тощей груди.

— Сергей Николаевич, не забудьте, подъем в шесть!

— Слушаю, Владимир Львович.

Кедров захлопнул полотнище входа и стал у палатки.

Река чешуилась лунным серебром. Илимка мерно покачивалась на волнах. Звезды стояли низко.

«Проболтаем всю ночь!» — подумал Кедров, приглушиваясь к говору у костра.

Комар заныл над ухом. Кедров хлопнул себя по щеке, счастливая бодрость наполнила тело, он засмеялся и зашагал к костру...

### III

Оставшись с тунгусом наедине, Кедров спросил, зачем ему понадобилась грамота на владение рекой Ханнычар. Из сбивчивых объяснений тунгуса Кедров понял следующее. Минувший год был очень тяжелым для охотников этого района. Был неурожай кедровых орехов, и белка ушла в Сымскую тайгу. За всю зиму Бургукан Кима добыл всего двадцать две белки и одну сиводушку.

В начале лета захворал отец Кима. Шаман врачевал его два дня, но это не помогло: старик умер. Шаман взял за работу лучшего оленя и два потакуя<sup>1</sup> с мукой. Олень был совершенно белой окраски, что у туземцев очень ценится. Об этом олене Бургукан говорил с таким же волнением, как и о смерти отца.

Несчастья его на этом не кончились. Уходя на охоту, он загнал оставшихся трех оленей вместе с телятами на маховище. Когда он вер-

<sup>1</sup> Потакун — ранцы из оленьей шкуры; в этих ранцах тунгусы-оленьеводы хранят имущество.

нулся, телят уже не было. По следам он определил, что их одного за другим уволокла рысь. Оставшиеся олени вскоре пали. Их болезнь Бургукан описал так: сначала у оленей распухли ноги, потом загноились копыта. Повидимому, это был бутун.

Положение создалось тяжелое. Вчера утром, когда Кима выходил на охоту, жена сказала, что мука осталась лишь на дне потакуя. Бургукан пошел в лес с твердым намерением добыть сохатого. План был такой. Бургукан должен был добыть сохатого. и забрать его в лабаз с тем, чтобы потом перекочевать с чумом к мясу и устроиться на новом стойбище.

Вначале Бургукану посчастливилось. Сойдя в распадок, на дне которого протекал ручей, он напал на след лося. След вывел его к реке. Сохатый, по всем признакам, вошел в воду и переправился на противоположный берег. След его заходил в реку, теряясь в двух саженьях от берега.

Бургукан приготовился к переправе, как вдруг на глаза ему попала чужая тамга, то есть чужой родовой знак, вырезанный на дереве. По следу шел другой охотник, о чем он и предупреждал возможного соперника.

Бургукан рассердился и даже бросил ружье наземь. Именно в этот момент он увидел ветку<sup>1</sup>, которая шла по течению. В ветке сидел человек. Бургукан остановил его.

От тунгуса, сидевшего в ветке, Бургукан узнал, что сверху идут в лодке русские начальники.

Бургукан пошел навстречу экспедиции.

---

<sup>1</sup> Ветка — местное название долбленной лодки.

Без пяти шесть Кедров вышел из палатки. Ленивое солнце выползло из-за тайги. По реке шла розовая рябь. Сизый дым почти угасшего костра стлался к земле. Игнат спал у костра, завернувшись в оленью доху. Тунгус спал сидя, положив пальму на плечо и скрестив на древке руки. Голова его свешивалась на грудь, синяя повязка, поддерживающая волосы, сблизь на глаза.

— Игнат! — крикнул Кедров.

Тунгус вздрогнул и уронил пальму. Над носом лодки поднялась взлохмаченная голова.

— Вставай, Егор! — крикнул Кедров.

Егор сонно поморгал опухшими глазами.

— Пошто Игнат не встает?

Игнат сбросил доху и шумно зевнул. Потягиваясь и позевывая, он проревел:

— Чортов лентай! Я давно не сплю!

— Сам ты турок! — примирительно отозвался Егор.

Лагерное утро началось. Из палатки вышел профессор. Ежась от утренней прохлады, он пошел к лодке; мохнатое полотенце, висевшее на его плече, заполоскалось от ветра. Егор зачерпнул ведро воды и вылез из лодки.

Началось умыванье. Профессор фыркал и шумно расплескивал воду. У ног его натекла лужица.

«Выдра», — думал Бургукап, глядя на профессора. Ему было трудно поверить, что это и есть начальник.

Во время завтрака, когда люди расселись по краям брезентового плаща, разостланного у ко-

стра, профессор внимательно, поверх огромных очков, поглядел на Бургукана. Бургукан ничем не отличался от туземцев, которых он видел в пути.

Тунгус сидел, скрестив ноги, острые углы колен были подняты. Он был одет в синие штаны, заправленные в унты из оленьей замши, и в рваную парку. Засаленная синеватая повязка закрывала лоб, поддерживая длинные волосы. Лицо у него было скуластое, коричневые глаза немного косили, темная растительность чуть пробивалась на верхней губе.

— Где ты живешь? — спросил профессор.

— Там!

Тунгус показал рукой на северо-восток.

— Далек твой чум?

— День мера.

Тунгус протянул Игнату пустую чашку, Игнат снял с огня закопченный чайник, густое кофе полилось в чашку.

— Хороший вода, — сказал тунгус.

Несмело улыбнувшись, он вдруг дотронулся до руки профессора и залепетал:

— Миколка чум место лабаз ставил. Миколка — худой людя, борони бог.

Коричневая рука показала в полуденную сторону.

— Миколка та сторона живет. Худой людя! Ханнычар-место ходит, водка несет! Водка несет — белка просит! Начальник боится, борони бог.

Профессор пожал плечами:

«Какой начальник, какой Миколка?»

«Охотничий лабаз, — подумал Кедров. — Надо запомнить».

Сладкая вода, которую пили русские, понравилась Бургукану. Он выпил пять чашек. Вероятно, он выпил бы шестую, но русские очень торопились. Пока Бургукан допивал пятую чашку, путники погрузили в лодку все свои вещи. После этого они разобрали палатку.

Бургукан подумал, что он не смог бы разобрать чум с такой быстротой. Его многое удивляло. Войдя в лодку и увидев треноги геодезических инструментов, он спросил Кедрова:

— Какой его дело?

Кедров объяснил, что этими инструментами они измеряют землю.

— Зачем смеешься? — обиделся Бургукан.

Кедров растерялся и ничего не ответил.

Он сидел на носу лодки. Бессонная ночь вошла в его тело усталой немотой. Игнат и Егор сидели на веслах. Ровный скрип уключин вызывал сонливость. Кедров сполз на дно лодки — берег в осеннем багрянце леса поплыл ему навстречу.

Он закрыл глаза. За бортами лодки плескались волны. Станный сон сковал его тело, он слушал скрип уключин, и ему казалось, что за бортами лодки медленно струится жизнь.

## V

Вечер застал их в чуме Бургукана. Сидя на подстилке из сосновых веток, профессор знакомил Кедрова с основами туземного права.

— Сергей Николаевич, мы были свидетелями интереснейшего прецедента. В туземном родовом праве особенно важны те моменты, которые относятся к владению охотничьим угодьем. Всякий

туземный род, всякое туземное хозяйство всегда стремилось закрепить за собой то или иное охотничье угодье. Раньше туземцы не знали нотариальных актов. Чтобы закрепить за собой угодье, достаточно было доказать годичную давность владения этим угодьем.

Профессор прихлебнул из кружки чай. Голос его звучал так, точно он читал лекцию в вузовской аудитории.

— В настоящее время годичная давность не является уже юридически действенным моментом. Родовое право разлагается. Туземцы не довольствуются изустными актами. Как следствие этого, мы имеем просьбу Бургукана о грамоте на владение.

Бургукан, сидевший у очага, насторожился. Разговор шел о нем.

— Следует заметить, что туземцы верят в бумагу слепо. То, что написано на бумаге, неоспоримый для них закон. Поэтому, Сергей Николаевич, меня несколько не удивила просьба Бургукана о вводе его во владение речкой Ханнычар.

Профессор вынул трубку и выбил о колено пепел: Кедров протянул Бургукану пустую чашку. Бургукан потянулся к котлу, висевшему над очагом.

— Больше не надо,— сказал Кедров.

У входа в чум сидела женщина с мелким скуластым лицом. Черноглазый мальчик выглядывал из-за ее спины.

— Как тебя зовут? — спросил Кедров, обращаясь к женщине.

Она засмеялась, крохотный рот раскрылся, мелкие зубы блеснули.

— Майиуль зовут,— сказал Бургукан, передавая жене пустую чашку.

Она раскрыла сундучок, наполненный стружкой, и стружкой вытерла чашку. Движения у нее были проворные. По виду ей нельзя было дать более двадцати трех лет. Рот у нее был свежий. Тонкие дуги бровей, взползающие на лоб, придавали лицу переменчивое и недоумевающее выражение.

— Его как зовут? — спросил Кедров, показывая на мальчика.

— Чунго! — улыбнулся Бургукан.

Кедров взял из коробки кусок сахара и подал мальчику. Чумахая лапка дотронулась до его ладони и тут же отдернулась, лицо мальчика покрылось бисером пота.

«Ежик!» — подумал Кедров. Неожиданная нежность согрела ему сердце. Он представил ночлег этой семьи в зимнем чуме.

В очаге слабо тлеют уголья, мужчина и женщина спят на оленьих шкурах, за меховыми стенками чума влетает метель, маленький сын спит рядом с матерью, ему тепло, он как звереныш в логове.

Кедров беспокойно завозился на месте. Вспомнив городскую комнату, он внимательно осмотрел чум.

Деревянный его каркас был обтянут коническими полотнами, сшитыми из оленьей замши, дым выходил в круглое отверстие, устроенное в верхнем своде, вокруг очага лежали оленьи шкуры, запах дыма и сосновых веток плотно утвердился в чуме.

Кедров сидел по-туземному, с поджатыми ногами. Когда он осмотрел чум, туземная поза по-

казалась ему нарочитой. Кедров встал, ноги у него затекли,—прихрамывая, он вышел на воздух.

В пятнадцати шагах от чума Игнат и Егор ставили палатку. Держа в одной руке топор, а в другой развилистый колышек, Игнат крикнул:

— В аккурат кончаем!

Чум стоял на солнечной елани. Внизу блестела река. Кедрач взбегал на пригорок. Полявка, увенчивающая елань, поросла кровохлебкой. Кедров внимательно оглядел стойбище. Нензъяснимая грусть овладела им.

В нескольких шагах от чума были распялены оленьи шкуры. На берестяных подстилках лежали потакуи Бургукана. Кедров знал, что эти большие ранцы, сделанные из оленьей кожи и расшитые бисерным узором, служат для хранения имущества. Он насчитал шесть ранцев. С этим имуществом тунгус жил в тайге.

В городских мечтаниях жизнь лесного человека представлялась ему исключительно счастливой.

Теперь он бормотал:

— Книжный вздор... ерунда!

Он готов был поколотить того олуха, который бил посуду в вузовской лаборатории и заранее восхищался лесной жизнью.

## VI

«Для туземца каждая бумага — закон». Когда профессор ушел в палатку, Кедров приступил к Бургукану:

— Боё, до лабаза отсюда далеко?

— Верста мера,— ответил Бургукан.

— Боё, сходим до лабаза?

— Однако, можно.

Бургукан повел Кедрова по тропинке, простро-  
ченной ельник. Кедров заметил, что походка у  
Бургукана особенная. Корпус его чуть откиды-  
вался назад, голову он нес несколько вбок. Пови-  
димому, он был неутомим в ходьбе.

Дойдя до бурелома, покрытого зеленым ли-  
шайником, Бургукан свернул в березовый под-  
лесок.

Через несколько минут лабаз предстал перед  
ними. Это была избушка на четырех столбах, с  
квадратным лазом, чернеющим в жердяном на-  
стиле.

На земле лежало бревно, иззубренное пристуш-  
ками.

Приставив к лазу бревенчатую лестницу, Ке-  
дров поднялся в избушку. Затхлый сумрак охва-  
тил его. Он зажег спичку, — избушка была низ-  
ка, он доставал головой до потолка. На жердяном  
полу лежали мешки, поверх мешков были бро-  
шены широкие и тупые лыжи, отделанные ка-  
мысом<sup>1</sup>.

Кедров прощупал мешки, они были набиты су-  
харями.

Спичка обожгла ему пальцы. Он спустился  
вниз.

— Боё,— спросил он,— ты пойдешь с нами  
завтра?

— Однако, так.

— Хлеба у тебя нет?

— Однако, нет.

— Семья без тебя голодать будет?

— Однако, так.

<sup>1</sup> Камыс — шкура, снятая с оленьих ног.

Кедров решил идти напролом. Экспедиция не могла оставить продовольствия для семьи Бургукана, потому что продовольствия было взято в обрез. Тунгусской семье угрожала голодовка, а в лабазе спиртопоса гнили сухари. Кедров приступил к тунгусу:

— Боё, Миколка пропадет, если у него взять один мешок?

— Однако, пет.

— Значит, можно взять один мешок?

Тунгус изумленно взглянул на русского. Русский не смеялся. Русский настойчиво спрашивал: можно ли взять из чужого лабаза мешок сухарей?

Бургукан переступил с ноги на ногу.

— Так худо бывает.

— Почему худо?

Кедров задумался. Как сломить это равнодушное упрямство? Человек тайги считает величайшим преступлением посягательство на чужое добро. Но Миколку Большого нельзя ставить под действие этого закона. Миколка — явный спиртонос. Простая справедливость подсказывала взять его запасы в пользу голодной семьи.

Несколько минут они молчали. Ветер ворошил листья. В лесу ухала птица.

— Боё,— заговорил Кедров,— раньше такой закон был, чтобы человек не трогал чужого лабаза. Теперь закон вот какой: у тебя хлеба много, а у меня хлеба нет, новый закон разрешает бедному брать у богатого лишний хлеб. У Миколки сухарей много. У Миколки лежат в лабазе четыре мешка. К тому же он сплавляет народ и за бесценок берет меха. Если бы Миколка попался начальнику, начальник велел бы его связать. весь его припас начальник роздал бы народу.

Кедров перевел дух. Кровь прилипла к его лицу. «Правильно ли я говорю?» — спросил он себя. Темное лицо тунгусенка всплыло в его памяти. Сомнения исчезли. Да, он действует правильно. — Боё,— начал он вкрадчиво,— я дам тебе бумагу с новым законом. Мы возьмем один мешок и отдадим Майнуль.

Расчет был правильный. Кедров сел и, вынув блокнот, написал на чистом листке:

«Гражданин, известный мне под именем «Большой Миколка», мешок сухарей из вашего лабаза взят под мою ответственность тунгусом Бургуканом Кима. Семья его голодает. Советую никаких неприятностей не чинить, так как я всегда сумею найти на вас управу.

31 августа. Сотруднику Лесоисследовательской экспедиции.

Сергей Кедров».

Почью они вернулись на стойбище.

Бургукан пришел в чум с мешком на спине.

В палатке, засыпая на оленьей постели, Кедров улыбался:

«Знал бы профессор, что я издаю декреты!»

## VII

Путники покинули стойбище на другое утро.

Когда лодка отходила от берега, Майнуль и Чунго стояли у чума. Кедров с тревогой подумал, что Майнуль должна прожить одна целую неделю.

— У нее есть ружье,— сказал он профессору,— но остаться одной в тайге...

— Ерунда! — перебил его профессор. — Городской предрассудок!

Кедров вспомнил вчерашний эпизод. Да, с городской точки зрения многое кажется странным. Вчера, когда они только что отошли от лабаза, Бургукан остановил его. Бросив мешок, он подобрал палочку, вынул нож и быстро вырезал на палочке лук со стрелой, обращенной вверх. После этого он вернулся к лабазу и, перешагнув через две ступеньки, забросил палочку в зияющую дыру лаза.

Кедров внутренне одобрил его действия. Он понял, что лук со стрелой был родовой знак Бургукана. Оставляя знак взамен сухарей, Бургукан извещал хозяина, что сухари взяты именно им. Палочка с родовым знаком была его распиской.

## VIII

Экспедиция вела маршрутную съемку. Гониометр, установленный в лодке, отмечал каждый поворот. Время прохода отмечалось по часам.

Ландшафт реки был однообразен. Правый высокий берег круто нависал над водой. Опрокинутое отражение леса доходило до половины реки. Было пусто и солнечно. Экспедиция делала привалы то на левом, то на правом берегу. В часы остановок путники бродили по лесу, собирая травы для гербария и осматривая насаждения.

Профессор был доволен тем, что экспедиция охватила обследованием бассейн реки Ханнычар. Это неожиданное дополнение к основному маршруту давало чрезвычайно интересный материал. Профессор говорил, что через два-три года по

Ханнычару пойдут первые плоты и с этого начнется завоевание огромных лесных площадей.

Кедров сразу начал фантазировать о будущности реки Ханнычар.

Восторженно улыбаясь и размахивая руками, он заговорил о постройке гигантского лесозавода и о культурном лесном хозяйстве, которое будет организовано в Ханнычарском бассейне.

Профессор пожал плечами.

— Хозяйство хозяйством, — сказал он хмуро, — вы забываете о другом. Когда на Ханнычар придут люди, они непременно вообразят, что им скучно в этой дыре.

— Что же из этого? — недоумевающе спросил Кедров.

— Раз людям скучно, они развлекаются! — Профессор ткнул рукой в сторону зеленого кедра. — Под тем вон кедром будет устроен банальнейший пикник: люди усядутся на траву вокруг самовара, и доморощенный фотограф снимет их на память.

Кедров отошел от профессора и заговорил с Бургуканом.

## IX

Бургукан нравился Кедрову. Он казался ему сметливым человеком, хотя жизненного опыта в городском смысле слова у него не было. Он только один раз выходил на фабрику и раз был на суглане.

Рассказ его о суглане поразил Кедрова.

Уклоняясь от гражданской войны, тунгусы забились в тайгу. Связь с внешним миром была порвана. Караваны тунгусского князя Чунго пе-

рехватывали русских, которые пытались пройти в тайгу.

В 1923 году одному начальнику, — Бургукан так и сказал: «одному начальнику», — удалось прорвать кордоны. К тому времени тунгусы стали уже тяготиться своей оторванностью. Начальник нашел среди них тайных союзников, и они помогли ему созвать суглап.

Это был очень многолюдный суглап. Чунго явился со всем своим родом. Он пропустил начальника в тайгу, потому что его пугало растущее недовольство подданных. Но вместе с тем он не хотел отступить без боя. Сторонники его, когда он вошел на суглап, сразу завопили, что новая власть худая, что у нее нет ни пороху, ни чаю.

Начальник приказал вскипятить воду. Он был молчалив и спокоен, дружелюбно улыбался и раскуривал трубку.

Когда забурлила вода, он высыпал в котел фунт чаю, потом открыл мешки с баранками и поставил их вокруг котла. Тунгусы быстро опустошили мешки, выпили весь чай, и недовольство их против Чунго прорвалось наружу.

Они кричали, что новая власть хорошая, потому что у нее есть чай и порох. Они кричали, что Чунго убивает торговых людей, которых посылает новая власть, что без пороху и муки охотники помрут все до единого.

Рассказывая о суглане, Бургукан особенно подчеркивал, что Чунго убивал людей.

Выслушав его рассказ, Кедров записал в тетрадь:

«В глазах северного человека кровопролитие — самое большое преступление. Людей здесь слиш-

ком мало, и природа подсказывает им мудрый закон экономии, заставляя их особенно бережно относиться к дорогому человеческому материалу».

## Х

Как-то утром Бургукан проснулся в мрачном настроении. Заметив его расстроенное лицо, Кедров заговорил с ним. Бургукан сказал, что ему приснился плохой сон.

На ночном привале Бургукан подошел к профессору, когда тот укладывался спать.

— Однако, сон замечай, — сказал он решительно. — Сон будет хороший — Майиуль хорошо, худой — Майиуль плохо.

Профессор откровенно засмеялся. Как только Бургукан вышел из палатки, он позвал Кедрова и, хитро улыбаясь, сказал, что экспедиция не может потерять проводника, и он поэтому постарается увидеть хороший сон.

Утром Бургукан спросил профессора, какой он видел сон.

Профессор смутился и забормотал:

— Плывет лодка, сидит человек...

Дальше этого не пошло. Бургукан нашел сон неубедительным и тут же потребовал, чтобы его отпустили домой.

Профессор нехотя согласился.

## ХІ

Расставшись с русскими, Бургукан к вечеру второго дня достиг той ложбинки, в которой экспедиция вставала на первый бивак.

Трава в ложбине была сильно примята. На том месте, где стояла палатка, валялись пустые банки. Врытая земля чернела.

Бургукан набрал сушняку и разложил костер. Сходя с чайником в ручью, журчавшему на дне оврага, Бургукан поставил над огнем козелки и повесил на перекладинку чайник. Потом он достал из мешка банку консервов, раскупорил ее и закопал в горячую золу. Этому он научился у русских.

Незаметно подкралась сумерки. Густые тени наполнили из кустов. Над ложбинкой сомкнулась ночь.

Опустошив консервную банку и выпив всю воду из чайника, Бургукан лег у костра. Усталость сморила его.

На рассвете он поднялся и вышел из ложбинки.

Ноги у него ныли. Он зашагал по охотничьей тропинке. Трудно было определить время: шел ли он час, день или целую жизнь?

Чум появился внезапно. Бургукан отбросил рюкзак, прикрывавшую вход. В чуме было темно. Угольки звезд тлели в дымовом отверстии. Майнуй лежала у погасшего очага, за ее спиной спал маленький сын.

Бросив ружье, Бургукан присел на корточки. Он нащупал оленью постель, его рука дотронулась до плеча жены. оно было теплое.

— Ты? — шепнула женщина. Глаза ее блеснули. Она потянулась к Бургукану.

Внезапно качнулась сосна. Он крикнул. Сосна упала на чум. Предсмертное томление потрясло его. Крикнув еще раз, Бургукан очнулся. Он лежал у кострища. За ночь одна из жердинок перегорела, и на него свалились козелки.

Бургукан шробормотал ругательство. Это не вернуло спокойствия. Плохой сон повторялся недаром.

Было ясно: с семьей случилось неладное.

Бургукан поднялся. Ночь была на исходе. За рекой горела заря. Вымытое солнце всходило, трава блестела росой.

Бургукан вышел из ложбины. Было холодно. Он зашагал по охотничьей тропке. Ноги у него намокли, но он быстро согрелся.

Шел он по прямой линии, постепенно уклоняясь от реки.

Одно мгновение ему показалось, что он сбился с дороги. Тогда Бургукан стал искать осинник. Стволы осин, обращенные на юг, поросли мхом. Направление было взято верно. Он кивнул головой и зашагал дальше.

В полдень река блеснула в просвете леса. Это был конец пути. Встав у горелой сосны, Бургукан перевел дух. Он был в испарине. Темные предчувствия тревожили его. Небольшой мысок отделял его от чума.

Перед ним спокойно струилась река. Белая птица скользнула над волной, выхватив рыбешку. Брызлы ее блеснули на солнце. Желтая трава шелестела у берега.

Этот шелест немного успокоил Бургукана. Он пересек узкий выступ берега, — чум стоял на старом месте, но над ним не вился привычный дымок...

...Предчувствия не обманули. Тяжело дыша, вбежал в чум, — у погасшего очага лежал Миколка. Бургукан склонился над Миколкой, из-под руки Миколки из опрокинутого чайника тихо струилась вода.

— Боё! — крикнул Бургукан.

На бородатом лице медленно раскрылись мутные глаза.

— Ково? — пробормотал Миколка.

Острый запах водки ударил Бургукану в лицо.

— Боё,— залепетал Бургукан,— где Майнуль, Чунго где?

— Зменна! — промычал Миколка. — Зыкана, хлопана, что я им, сторож, чо ли? — Он медленно сел и обычился: — Должно, по бруснику ушли!

Бургукан вышел из чума. Прихватив ружье, стоявшее у входа, он выстрелил в воздух. Песок заскрипел за его спиной. Он обернулся. Миколка, огромный, рябой, бородатый, стоял перед ним.

— Зменна! — промычал Миколка. — Пошто мой лабаз зорил?

Бургукан вынул из-за пазухи бумагу, пожелтевшую от пота:

— Начальник бумагу давал.

— Зыкана, хлопана, — пробормотал Миколка, качаясь на нетвердых ногах.

Бургукан был спокоен. Бургукан думал: сейчас Миколка прочтает бумагу и даст ему жгучей водки. Бургукан улыбался, глядя в нахмуренное лицо Миколки, и думал о водке.

Удар был внезапен. Бургукан не почувствовал боли. Было удивление. Потом он упал под тяжестью огромного Миколкина тела...

## XII

Утром этого дня Майнуль с трудом вырвалась из Миколкиных рук. Схватив Чунго, она вышла из чума. Ей было не до брусники. Она засела в лесу, в полукилometре от чума. Огнива она не взяла, поэтому нельзя было развести костра.

Майнуль видела, как Миколка прошел к лабазу. Она видела также, как на обратном пути Ми-

колка ломал в щепы какую-то палочку. Повидному, это была тамга. Майнуль испугалась. До Бургукана нельзя было возвращаться в чум. Ее страшила мысль о том, что Бургукан вернется нескоро. Чунго плакал.

Усевшись на трухлявый пенек, она посадила рядом маленького сына и, чтобы утешить его, начала рассказывать сказку:

«В старое время жили-были два брата. Были они казаки, старшего звали Шектауль, а младшего Калбувыл. Жили братья ладно, добывали белку, а иной раз и соболя.

Старший брат женился на тунгуске, жена родила ему сына. Однажды Шектауль дал сыну лук, сын натянул тетиву, и лук сломался. Такой он уродился сильный. Шектауль тогда сказал: будем его звать Сломанный лук.

Прожили братья много лет, многих зверей добыли. Только раз чужие люди убили на охоте младшего брата. Шектауль рассердился, даже из чума ушел, а жену с сыном бросил.

Ушел Шектауль в лес и начал народ убивать, — сильно рассердился Шектауль.

Стали люди думать, что сделать с Шектаулем. Один раз к большому шаману приходит Сломанный лук.

— Я Сломанный лук, — говорит он шаману, — пойду-ка я в лес, убью Шектауля, — много через него народу пропало.

Шаман посмотрел на него и говорит:

— Где тебе Шектауля одолеть! Больно он сильный.

Сломанный лук пошел в лес, долго он шел, на седьмой день встретил Шектауля, и начали они бороться, боролись весь день, а вечером кричали:

— Жалко, что я тебя не убил! — кричал Шектауль.

— Жалко, что я тебя не убил! — кричал Сломанный лук.

Наутро они вновь сошлись и снова стали бороться. Бились до вчера, а вечером опять кричали. Так они бились семь дней. Добывать зверя было им некогда, бились они голодные. На седьмой день Сломанный лук бросил Шектауля на землю. Лежит Шектауль на земле и спрашивает:

— Как тебя зовут?

— Сломанный лук!

Шектауль заплакал.

— Я, — говорит, — твой отец. Возьми мой нож и вырежь мое сердце. Съешь мое сердце, — будут тебя бояться люди, как боялись меня.

С этими словами Шектауль умер. Сломанный лук разрезал ему грудь и вынул три сердца.

Взял он в руки три сердца и говорит:

— Не хочу я людей убивать, как убивал Шектауль.

С этими словами закопал он в снег три сердца и по крепкому насту вернулся в чум...»

Выстрел пришелся на конец рассказа, Майнуль испуганно вскочила, думая о Бургукане...

### XIII

...Нехватало дыхания. Миколка давил его огромным телом. Правой рукой Миколка дотянулся до ножа в деревянных ножнах, привязанного к ноге Бургукана.

Надо было держать Миколкины руки. От этого теперь зависело спасенье. Прямо над собой Бургукан видел багровое лицо. Страха он не чувствовал.

Главное, нехватало дыхания. Мускулы его заметно слабели. Миколка выпростал левую руку. Это был конец. Бургукан вцепился в Миколкино плечо. И вдруг Миколка сполз. Бургукан судорожно втянул воздух. Он увидел Маймуль, сжимавшую ствол ружья. Перед ним громоздилась Миколкина спина. К круглому затылку его прилипла травинка. Бургукан увидел кровь и потерял сознание.

#### XIV

На рассвете с Кедрова сползло одеяло. Он проснулся, дрожа от холода. Багряная заря заглядывала в палатку. Одеяло, до которого дотронулся Кедров, было покрыто инеем.

Кедров торопливо оделся и вышел из палатки.

Бивак был расположен на старом стойбище, которое Бургукан называл остяцким. Брошенные избышки стояли на спиленных деревьях. Багряные осины и темнозеленые кедры окружили их. Так же, как вчера, Кедрову показалось, что он видит картинку из сказки о бабе-яге. Он пошел к берегу. Лохматый пес подбежал к нему и потерялся о его колено.

Было свежо. Над рекой струилась сизая дымка. Трава блестела от инея. Холод проникал сквозь подошвы сапог.

Кедров подошел к берегу и удивленно свистнул: по реке, тонко звеня, бежали молодые льдинки, у берегов настала острая закраина.

Кедров повернулся и зашагал к палатке.

«Зима!» — подумал он.

Кровь хлынула к его щекам. Стало жарко. Он вошел в палатку и бесцеремонно растолкал профессора.

Рассказ его был стремителен. Профессор сбросил одеяло и, не отыскивая очков, начал одеваться.

— Реки здесь вероломные, — сказал он, через два-три дня может пойти настоящая шуга.

Кедров вышел из палатки. Игнат и Егор против обыкновения проснулись рано. Они топтались около лодки, толкая друг друга и дробно приплясывая.

— Укладывайся! — крикнул им Кедров.

Они остановились. Кедров увидел свинцово-серые от холода лица.

— Укладывайся! — повторил он.

Им стало ясно, что завтрака не будет. Они кинулись к вещам, сложенным у палатки.

Через четверть часа лодка отплыла.

Путники не прошли и полкилометра, как поднялся ветер. Он сразу сдернул сизую дымку. Кедров увидел реку и берег. Желтые листья падали вокруг лодки. От воды тянуло холодом. Кедров кутался в желтый полушубок, пылливо вглядываясь в озабоченные лица спутников.

## XV

Утром седьмого сентября экспедиция добралась до Бургуканова стойбища. Майнуль встретила путников. Она была встревожена. Из ее отрывистого рассказа можно было понять, что между Бургуканом и Большим Миколкой произошло столкновение. Майнуль не видела, как началась драка. Когда она выбежала на выстрел, Миколка уже душил Бургукана. Она схватила ружье и ударила Миколку прикладом. Миколка потерял сознание. Бургукан и Майнуль внесли его в чум и обмыли ему голову.

На другой день Миколку перенесли в лодку. Бургукап повез его к русским. Майнуй не знала точно, к каким русским отправился Бургукап. Можно было предположить, что он решил доставить Миколку к факторию «Север».

Когда Майнуй рассказала свою историю. Кедрову пришлось рассказать о произведенной им конфискации.

Профессор вскипел. Он обругал Кедрова авантюристом и легкомысленным мальчишкой. Он сказал, что действия Кедрова компрометируют экспедицию.

Походив по берегу и успокоившись, он отпустил Кедрову его грехи.

— Мы должны возможно скорее вернуться в факторию, — сказал он в заключение.

Ночь, которую экспедиция провела на Бургукаповом стойбище, особенно запомнилась Кедрову. Он был разбужен громким плеском полотнища, непрочно закрепленного над входом. Это было в полночь. Во входное отверстие палатки Кедров увидел беспокойную реку и багровый круг луны, низко нависший над лесом. Он даже испугался. На минуту у него мелькнула мысль, что мир умер и он остался один-на-один с этой багровой луной.

## XVI

Бревенчатые стены избы медленно темнели. За окном выл ветер. Он раскачивал рябину, подхватывал сухие листья и кружил их в воздухе.

Бургукап взглянул на согнутую спину счетовода и негромко сказал:

— Боё, пускай меня чум-место!

Счетовод положил руку на край стола и повернулся к Бургукану, сидевшему на полу.

— Никак нельзя, боё, я тебя отпущу, а меня за это взгреют.

Бургукан охватил колени руками и укоризненно покачал головой. Кажется, он не сделал ничего плохого,— правда, он поранил Миколку, но ведь Миколка попал на него первый, и он, кроме того, нарушил закон, который был написан на бумаге русским начальником. Что же теперь выходит? Он привез Миколку к его сородичам, чтобы они позвали Царапку-доктора и залечили его раны. Он сделал все, что можно было сделать. Почему же начальник не отпускает его домой?

Бургукан засунул руку за пазуху. Бумага лежала там. Но, может быть, тот начальник, который был у него в чуме, написал неправильный закон?

Бургукан вздохнул, привстал на корточках и пегромко повторил:

— Боё, пускай меня чум место!

Лисьё личико счетовода неприязненно дернулось.

«Вот беда,— подумал он, — в аккурат надо отчетность гнать, а тут такое дело...»

Счетовод обернулся. На желтом лице тунгуса пробился слабый румянец. Счетоводу стало неловко. Он отвел глаза и, взглянув в окно, увидел лодку, которая входила в маленькую бухту фактории.

Счетовод узнал Кедрова стоявшего на носу лодки, и рыжую собаку, которая лежала у его ног.

Паузок покачивался у берега. Едва лодка по-

ровнялась с паузком, собака прыгнула в воду. Гребцы затабанили. Лодка выровнялась и пошла к берегу.

Фактория стояла на пригорке. Выйдя на крыльцо, счетовод увидел Кедрова, бегущего на пригорок вперегонки с собакой.

— С прибытием, товарищ Кедров! — крикнул счетовод, приветливо махая рукой.

Рыжая собака вбежала на крыльцо и, отряхиваясь, забрызгала его водой.

— Бургукан у вас? — крикнул на ходу Кедров.

— Второй день сидит, — затараторил счетовод, — он, видите ли, охотника привез, а охотник...

— Знаю, знаю! — перебил Кедров. — Только вы ошибаетесь. Бургукан вам самого настоящего спиртоноса доставил, неподдельного тунгусника-эксплоататора.

— Это не моего ума дело, — сказал счетовод, пожимая протянутую руку, — завтра Василь Никанорыч придет, тогда и порешим, как быть. Я думаю, обоим придется в рик отправить.

— Зачем в рик! — вскипел Кедров. — Бургукан ни в чем не виноват, я могу доказать, он совершенно...

— С прибытием, товарищ профессор! — крикнул счетовод.

Профессор Ваганов подходил к избе, счетовод сбежал с крыльца. Они встретились у рябины.

— Благополучно ли сплавали? — спросил счетовод.

Ветер рвал красное тряпье рябины. Профессор задыхался.

— Товарищ Ведрушко, — начал он, — товарищ

Ведрушко, куда делась... куда делась... наша илимка?

— Тут, видите, профессор, история вышла...

— Какая история? Я вас про илимку спрашиваю.

Счетовод улыбнулся:

— Да я и хочу про илимку. Тут, видите, вышла история...

— Опять история! — пробормотал профессор. Он сорвал кепи и вытер лоб.

Кедров подошел к нему.

— Владимир Львович, дайте ему рассказать.

— Вот-вот, — обрадовался счетовод, — именно так: тут получилась история. В тот день, как вы ушли, у нас получилось известие: ждите экспедицию культабазы. Стали мы ждать. Пятого числа действительно увидели караван: два паузка да и три илимки, а ведут их шлохонькие катеришки.

Я моментально сажусь на ветку и нагоняю передовой паузок. Паузок тяжело груженный, мешки и чемоданы горой навалены, на мешках постели и всякая домашность, народу тоже немало, а народ все странный: дамочки на высоких каблуках да ребятишки.

Я спрашиваю начальника. Из каюты выходит молодой человек, — белый такой, крупчатый, сапоги высокие, на ремне через плечо наган висит. Я спрашиваю: «Вы начальник экспедиции?» Он подтверждает. Я тогда и говорю: «Поздненько в путь тронулись, как бы вас шуга не захватила, опять же порог обмелел, паузки у вас тяжелые, а катера слабосильные». Начальник сразу взбеленился: «Гражданин, — говорит, — провалпвайте отсюда, не разводите ланики!»

Я тогда ударяю веслами и прохожу повдоль каравана. Паузки и илимки все груженые, народу везде много, а железных мечей и в шомше нет.

Вечером сошлись мы с Василь Никанорычем. Секретарь пришел из родового совета, сидим, разговариваем, вдруг слышим: моторчик стучит. Подбегаем в окну. У берега фонари горят,— значит, верно: подвалил катерок.

— Товарищ Ведрушко,— нетерпеливо напомнил Кедров,— скажите про илимку!

— Что тут говорить! — засуетился счетовод. — Что я предсказывал, то и сбылось! Катеришки действительно застряли на пороге, начальник вернулся и паузон с мукой привел, а вместо паузка забрал вашу илимку, заодно ваших рабочих мобилизовал на помощь экспедиции, да Василь Никанорыча, да секретаря.

Профессор посерел от волнения.

— Вы не беспокойтесь,— наклонился к нему счетовод,— мы вас на своей лодке доставим, а о пароходе не горюйте, пароходов теперь много пройдет.

— Почему много? — хмыкнул профессор.

— А я сообщение имею,— ответил счетовод,— пойдемте в хату, я вам покажу.

Рыжая собака тянулась мордой в его колени. Он боязливо посторонился и, повернувшись к профессору, показал на дверь:

— Пожалуйста!

Профессор вошел первым, в распахнутую дверь ворвался ветер, вслед за профессором вбежала собака. Бургукан кинулся навстречу Кедрову, растерянно бормоча:

— Боё, пускай меня чум-место!

Кедров отвел его к окну, они зашептались.

— Извиняюсь,— сказал счетовод,— одну минутку!

Он ушел в комнату, смежную с конторой; в раскрытую дверь профессор увидел край стола и черную тарелку громкоговорителя. В конторе стояли стол и два стула. Стены пахли сосной.

Счетовод вышел из комнаты, держа перед глазами клочок бумаги.

— У меня тут радиограмма,— сказал счетовод,— я ее вчера перехватил на свой приемник. Вот слушайте: «В ночь на шестое сентября пароходы «Товарищ» и «Красная рыбацка» были захвачены штормом в районе Нового порта. «Красная рыбацка» встала на якоря. «Товарищ» с двумя лихтерами потерял управление и был выброшен на берег. На помощь «Товарищу» вызваны вспомогательные суда».

Счетовод сунул бумажку в карман и успокоительно засмеялся:

— Теперь пароходы гусем пойдут, садись на любой!..

## XVII

В сумерки, когда все вещи из лодки были перенесены в контору, Кедров и Ведрушко вышли из фактории.

— Нынче мы во всей фактории вдвоем остались,— сказал Ведрушко,— я да Наталья Федоровна.

— Какая Наталья Федоровна? — рассеянно спросил Кедров.

— Будто вы не знаете,— засмеялся Ведрушко.— Наша учительница, жена секретаря.

Они зашагали по тротуару, соединявшему школу и контору. Тротуар был узок. Шли гуськом, у крыльца Ведрушко забежал вперед.

— Навестим секретариху,— засмеялся он, вбегая в сенцы.

— Да-да,— согласился Кедров.

Они вошли в коридор. Ведрушко постучал.

— Войдите! — крикнул женский голос.

Ведрушко распахнул дверь. Острый запах лекарств ударил им в лицо. Кедров увидел комнату, заставленную столами. Керосиновая лампа горела тускло. На широкой постели, стоявшей у стены, грузно сидел человек. Высокая белокурая женщина склонилась над ним, руки ее сновали вокруг головы грузного человека, закутывая ее в ослепительно белые бинты.

«Так вот он какой, спиртонос!» — подумал Кедров, глядя на человека, сидевшего на постели. Лицо у человека было отечное, черная борода оттеняла белизну бинтов. Он сидел, опираясь руками о подушку.

— Наталья Федоровна,— сказал Ведрушко,— можно вас на одну минутку?

— Сейчас,— отозвалась женщина.

Она завязала концы бинтов. Человек, сидевший на постели, поднял голову. Глаза у него были безбровые и очень выпуклые, лицо изрыто оспинами.

— Ложитесь! — сказала женщина.

Она вышла в коридор. Дверь захлопнулась. За дверью послышался негромкий говор.

Человек сдвинул белую чалму бинтов и потянулся к двери. Решительный и твердый голос произнес за дверью:

— Тупгусник безусловный!

...Вернувшись в контору, Кедров в темноте наткнулся на Бургукана. Бургукан спал сидя, прислонясь спиной к печке. Гребцы храпели на полу. Кедров ощупью пробрался к столу, на котором была разостлана его постель.

Дверь в комнату счетовода осталась неприкрытой. Свет керосиновой лампы пробивался в контору. Счетовод склонился над клавиатурой радиоприемника.

— Слышно что-нибудь? — спросил Кедров громким шопотом.

Счетовод повернулся к нему, блеснув наушниками:

— Московский концерт. Хотите, поставлю громкоговоритель?

Счетовод повозился со штепселями. Заглушенная музыка вплыла в контору, и позывные сигналы радиостанции влились в певучую музыку.

Кедров закутался в одеяло. Позывные сигналы протяжно ныли. За окном шумел ветер...

Звук падающего тела разбудил его. Он открыл глаза. Маленький человек носился по комнате, обегая спящих; он размахивал руками и кричал:

— Упустили! Упустили! Убежал, анафема. Тунгусника упустили! В окно выпрыгнул!

Кедров с трудом узнал в этом растрепанном человечке начальника фактории.

В дверях конторы стояли братья Семиколпных, из-за их сомкнутых плеч выглядывал Бургукан.

— Упустили! — кричал человечек. Он топал ногами. На его немощном носу прыгали очки.

Вечером Кедров сидел в комнате Ведрушки. Перед ним лежала потрепанная тетрадь. Кедров писал:

«...Только сейчас я проводил Бургукана. Мы прошли с ним километра три. Возвращаясь домой, я думал о событиях этого дня. Они развернулись с кинематографической быстротой.

Рано утром вернулся начальник фактории В. Н. Колесов вместе с секретарем родового совета и нашими рабочими. Все они были мобилизованы на работы по спасанию экспедиции культ-базы, застрявшей у Бокового порога.

Войдя в свою квартиру, секретарь разбудил жену — учительницу Наталью Федоровну, на попечение которого был отдан раненый тунгусник. Тут и обнаружилось, что Большой Миколка исчез.

Колесов прибежал к нам и поднял такой шум, что мы даже перепугались.

Известие о побеге Большого Миколки меня очень обрадовало. Я понял, что это развязывает нам руки. Покричав сколько следует, В. Н. послал Ведрушко на стойбище тунгусов бургухлинского рода, находящееся в пяти километрах от фактории.

Так как Бургукан прибыл в факторию в отсутствие В. Н. Колесова, мне пришлось рассказать В. Н. всю историю с сухарями. В. Н. отнесся к тунгусу с большим сочувствием.

Когда Ведрушко привел со стойбища председателя родового совета тунгуса Ачолана и председателя родового комитета взаимопомощи тунгуса Харкиму, В. Н. открыл совещание.

На совещании сразу же решили: поскольку

спиртонос ушел, Бургукана не следует отправлять в рик, тем более, что до рика при местных транспортных условиях очень нелегко добраться.

Я, разумеется, поторопился известить Бургукана о таком решении.

Когда выяснилось, что родичи Бургукана вымерли, Колесов поставил вопрос, не смогут ли бургухлинцы принять его в свой род.

Ачолан и Харкима согласились сделать это на ближайшем суглане, то есть на ближайшем родовом собрании.

После этого В. Н. попросил Ачолана и Харкиму дать Бургукану двух оленей из стада родового комитета взаимопомощи, на что Ачолан и Харкима после некоторого колебания тоже согласились.

Замечательный человек Колесов! С виду невзрачный, маленький, лицо у него шафранного цвета, очки проволокой связаны,— но все это не мешает В. Н. быть простым, вдумчивым и изумительно сердечным человеком.

Сейчас Владимир Львович ушел с В. Н. в гости к секретарю. Наши рабочие собрались в конторе, Игнат научил братьев Семиколенных прелестям девятки, и они ожесточенно дуются в карты, расплачиваясь спичками»:

Кедров закрыл тетрадь. В комнату входила ночь. Ведрушко сидел над радиоприемником, ртутные лампы наливались светом. Близорукко щурясь, счетовод покрывал значками листок бумаги, лежавший на доске приемника.

В конторе слышались негромкий говор и звонкие шлепки карт. Свет керосиновой лампы пробивался в дверь. Ведрушко блеснул наушниками.

— Слушайте! — сказал он, повертываясь к

Кедрову и держа перед глазами листок бумаги: — «В ночь на девятое сентября, при благоприятном северо-западном ветре, «Красная рыбачка» подошла к «Товарищу». Героическими усилиями команд «Товарищ» снят с берега и отведен в закрытую бухту. Лихтеров снять не удалось, так как ветер переменял направление. У «Товарища» поломано левое колесо. Командир «Рыбачки» сообщает: ветры нордовых румбов свирепствуют вторые сутки».

Ведрушко сорвал наушники и взглянул на Кедрова.

— Ветры нордовых румбов, — повторил Кедров, — как в морском романе. — Улыбка тронула его губы. Он подошел к окну.

Луна стояла над рекой, кутаясь в прозрачное облако. По реке шли волны. Паузки покачивались у берега, зарываясь в воду то кормой, то носом.

Кедров вспомнил о Бургукане. Ему представился костер. Бургукан сидит у огня. За светлым кругом шрптаналась ночь. Преодолевая сон, Бургукан поет о русских людях. Он поет о тех, которые дают бедным оленей, а на богатых топчут ногами.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Землепроходцы . . . . .	3
В лодке . . . . .	51
Поход . . . . .	61
Юрочка . . . . .	68
На пароходе . . . . .	120
Дом с деревянной башней . . . . .	144
Тунгус с Ханнычара . . . . .	213

---

**Редактор А. Митрофанов**

---

А5710. Подписана к печати 3/III 1944 г. Печ.  
л. 77/8. Авт. л. 9,49. Уч.-изд. л. 9,82. Тир. 10.000  
заказ 449. Цена 5 руб.

---

Типография „Красный печатник“ Москва,  
ул. 25 Октября, д. 5.





5 руб.